

МАЙКЛ ФРЕЙН
ОЛОВЯННЫЕ
СОЛДАТИКИ



Э
А
Р
У
Б
Е
Ж
И
А
Н
Ф
А
Н
Т
А
С
Т
И
Н
А

В литературу Майкл Фрейн, английский писатель, драматург и переводчик, вошел поначалу как романист. В его первом романе «Оловянные солдатики» объектом сатирического запала стали компьютеры, создающие литературные произведения.

В 1966 году за «Оловянные солдатики» Фрейну была присуждена премия Сомерсета Моэма.

- [Майкл ФРЕЙН](#)

-
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)

- [36](#)
 - [37](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
-

Майкл ФРЕЙН ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ



В Объединенной телестудии высоко ценили так называемую «широту обзора», и из председательских апартаментов на самой макушке башни, венчающей От-Билдинг, обзор в любом направлении был настолько широк, насколько позволяло марево промышленных испарений. На окнах апартаментов шторы узорчатого полотна, залитые светом скрытых прожекторов, неустанно колыхались от легкого весеннего дуновения скрытых вентиляторов, согревались скрытыми электрокаминами и освежались скрытыми кондиционерами. С обезоруживающей наивностью шторы терлись о жардиньерки драгоценного африканского дерева, где росли тропические цветы, безотказно орошаемые невидимыми глазу увлажнителями. По стенам были развешаны полотна Риопелли, Поллока, де Стаэля, Ротко и председательского племянника; в приемной сидели два ведущих режиссера, один продюсер-координатор, два режиссера-оператора и три ассистента режиссера, еще два с половиной часа назад вызванные к председателю на срочное совещание и с тех пор ожидающие аудиенции. (На круг каждый час их ожидания обходился председателю и прочим акционерам в 24 фунта стерлингов.)

У председателя шло совещание. Об этом событии всю Объединенную телестудию оповестили светящиеся экранчики. «У Р.П. совещание», — сверкали они повсюду, куда ни повернешься, и везде — в холле, в гараже, в столовой — можно было оценить новость по достоинству. Один такой экранчик на радость собравшимся высокооплачиваемым сотрудникам мерцал и в приемной председателя. Из своего закутка выпорхнула председательская секретарша и шестой раз не без тайного злорадства окинула всех взглядом.

— Пойду опять напомню Эр-Пэ, что вы здесь, — сказала она любезно.

Она тихонько постучалась в председательскую дверь и нырнула внутрь. По кабинету, заложив руки за спину, медленно выписывал круги Ротемир Пошлак; в струящемся из окон солнечном свете мягко поблескивала его изысканно седая шевелюра.

— Эр-Пэ! — обратилась к нему секретарша. Не удостоив ее взглядом, не повернув головы, мистер Пошлак высвободил из-за спины руку и знаком приказал секретарше удалиться. Он совещался с сэром Прествиком Ныттингом, действительным членом правления Объединенной телестудии, ответственным за общественную, общечеловеческую и культурную стороны дела. Сэр Прествик, маленький, грустный, вялый, сидел посреди кабинета в мягком вертящемся кресле и наподобие подсолнуха медленно обращался вокруг собственной оси, чтобы все время оставаться лицом к председателю.

Мистер Пошлак остановился и рассеянно колупнул на картине Поллока густо наложенную краску.

— Еще одно, — сказал он. — Кто у нас сейчас ставит «Обхохочешься»?

— Корбишли, — ответил сэр Прествик.

— Ага. Так вот, ступайте к нашему другу Корбишли и сообщите ему, что вчера во время вечерней передачи у лорда Мимолея галстук сбился под самое ухо.

— Сообщу, Эр-Пэ.

— Разъясните, что я не критикую ни техническую, ни художественную сторону спектакля.

— Ни техническую, ни художественную сторону.

— Я не прикидываюсь настолько компетентным, чтобы критиковать эти стороны наших постановок. До сих пор не прикидывался и вряд ли когда-нибудь начну. Я знаю свои возможности, Прествик. У меня под рукой достаточно специалистов, чтобы судить, выдерживают ли наши постановки конкуренцию с точки зрения технической, художественной и моральной. Этим специалистам я целиком и полностью доверяю. Сообщите это Корбишли.

— Не премину, Эр-Пэ.

— Но если у мужчины галстук сбился на сторону или у женщины высунулась бретелька, то в этом я разбираюсь. И в нашей постановке такого не потерплю.

— Совершенно согласен, Эр-Пэ.

— На мелочи у меня глаз наметан, Прествик, глаз наметан на мелочи.

— Безусловно, Эр-Пэ.

— Я не прикидываюсь специалистом в области телевидения. Я не прикидываюсь, будто много смыслу в торговле или финансах. Но я категорически утверждаю, что на мелочи у меня глаз наметан.

— На мелочи глаз наметан.

— Вот тайна успешного руководства, Прествик. Следите за мелочами, а крупное само за себя постоит.

— За себя постоит. Точно.

— По-моему, сотрудники меня за это уважают, а по-вашему?

— Конечно уважают, Эр-Пэ.

— По-моему, тоже. По-моему, тоже.

Мистер Пошлак умолк и пригладил великолепную седую шевелюру. Такая операция помогала ему думать, а в этот процесс он верил свято. Как-то раз он даже сказал сэру Прествику:

— Если бы меня попросили дать в одном слове наставление юношеству, вы знаете, Прествик, какое это было бы слово?

— Какое? — спросил тогда сэр Прествик.

— Думайте, Прествик. Думайте.

— Не знаю, Эр-Пэ. Мелочи?

— Нет, Прествик. Думайте.

— Э-э... смелость?

— Да нет же. Думайте.

— Ума не приложу, Эр-Пэ. Дерзание?

— Ради всего святого, Прествик, что с вами творится? Думайте!

— Принципиальность? Верность? Руководство?

— Думайте, Прествик! Думайте, думайте, думайте, думайте! Когда произошел этот разговор? Кажется, когда у сэра Прествика предпоследний раз обострилась язва двенадцатиперстной.

— Так кто же у нас сейчас ставит «Обхохочешься»? спросил обстоятельный мистер Пошлак.

— Корбишли, Эр-Пэ.

— Ах, Корбишли. Так сообщите ему, Прествик, ладно?

Сэр Прествик черкнул в блокноте «Сообщить Корбишли», и полностью его заметки по обсуждаемому вопросу выглядели теперь так: «Сообщить Корбишли. Сообщить Корбишли. Сообщить Корбишли». Едва слышный стон украдкой вырвался из-под его усов. Сэр Прествик был несчастен.

Его назначили в правление Объединенной телестудии после того, как он получил титул баронета за заслуги перед Англией в области общественных сношений; заслуги состояли в том, что из всех специалистов по общественным сношениям к моменту раздачи наград удалось найти одного-единственного деятеля, который не вел себя предосудительно с моральной точки зрения, так как лежал под наркозом в больнице; это и был Прествик. Для начала его сделали ответственным за общественные сношения. Но оказалось, что общественные сношения

неразрывно связаны с культурными, то есть с отношением мистера Пошлака к культуре, а культурные сношения незаметно переходили в общечеловеческие, то есть в отношении мистера Пошлака ко всему человечеству, кроме общественности, которая подпадает под сношения общественные. От напряженной работы сэра Прествик буквально таял на глазах.

— И еще одно, — сказал мистер Пошлак. — Сегодня утром в кабине лифта я насчитал пять окурков и четыре спички. Что вы об этом думаете?

— Должно быть кто-то прикурил от зажигалки, Эр-Пэ, ответил сэр Прествик.

Мистер Пошлак остановился как громом пораженный и смерил сэра Прествика глазом, наметанным на мелочи.

— У вас что, живот болит, Прествик?

— Да собственно, знаете, Эр-Пэ...

— Если вам трудно работать, так и скажите. Всегда могу обойтись собственными силами.

— Я вполне здоров, Эр-Пэ.

— Налейте себе стакан минеральной. Возьмите печенья. Не стесняйтесь.

Сэр Прествик вскочил и устремился к стенному шкафу, рядом с которым стоял мистер Пошлак.

— Налейте и мне стаканчик, — сказал мистер Пошлак. — На чем я остановился? Ах да, на пяти окурках и четырех горелых спичках в лифте. Разошлите по всем отделам меморандум с подробным перечнем найденного и напомните всем сотрудникам, что лифтами пользуются посетители, и у них впечатление об Объединенной телестудии вполне может сложиться на базе того, что они увидят на полу.

— Что они увидят на полу. Записал, Эр-Пэ, — откликнулся сэр Прествик, тщетно пытаясь налить минеральной и одновременно сделать пометки в блокноте.

— Взовите к самым светлым сторонам их души.

— Помечу себе, Эр-Пэ.

— Всегда и везде, Прествик, надо взывать к самым светлым сторонам души сотрудников. Они у них есть, надо только иметь смелость в это поверить. Вот один из краеугольных камней здравого руководства.

— Самые светлые стороны... именно.

— Всегда обращайтесь с другими так, как хочешь, чтобы обращались с тобой, даже если это последний швейцар.

— Делай другому то, чего желал бы себе.

— Это здравые общечеловеческие отношения. Это здравый бизнес. Это здравая этика.

— Несомненно, Эр-Пэ.

Мистер Пошлак помедлил, затем пригладил шевелюру — сделал ей то, чего желал бы себе.

— Кстати, об этике, — сказал он. — Кажется, мы где-то строим новый отдел этики для какого-то геологического колледжа?

— Для научно-исследовательского института автоматике, чуть оживился сэр Прествик.

— Да, что-то в этом роде.

— Я надеялся, что мы выкроим время потолковать об этом, Эр-Пэ, ведь у меня недурная новость. Они там пригласили на открытие королеву.

— В самом деле?

— Так говорят, Эр-Пэ.

— Хорошо, Прествик, хорошо. Очень хорошо. Налейте себе еще стаканчик минеральной.

Мистер Пошлак погрузился в раздумье, примечательное широтой обзора.

— Как это они ухитрились? — спросил он.

— Не знаю, Эр-Пэ.

— Интересно, как они ухитрились. Насколько мне помнится, вам не удалось заполучить королеву на открытие студии.

— Не удалось, Эр-Пэ.

— И королеву-мать вам тоже не удалось заполучить.

— Да.

— И принцессу Александру.

— Да.

— И герцога Кентского.

— Да.

— И герцога Глостерского.

— Я заполучил герцога Бедфордского.

Мистер Пошлак вытащил перочинный ножик и машинально стал соскабливать с картины Риопелли особенно выпуклый мазок розовой краски.

— Как же они ухитрились, Прествик? Неужто у них такие связи? А, Прествик?

— Это все элита, Эр-Пэ. Академики с элитой связаны одной веревочкой. Рука руку моет.

— Элита! Опять эта гидра поднимает подлую голову, да? Вы ведь знаете, Прествик, я не прикидываюсь, будто у меня есть политические убеждения, за этой стороной присматривают мои специалисты. Но все же, мне кажется, это угрожающий симптом, если телевизионная компания, на которой зиждется головная социально-культурная система связи в стране, не может заполучить даже герцога Глостерского, а какой-то богословский колледжик, обслуживающий ничтожное меньшинство, заполучает королеву.

— Как это верно, Эр-Пэ!

Мистер Пошлак сунул ножик обратно в карман и снова пошел делать круги по кабинету.

— Но с другой стороны, — сказал он, — королева ведь приедет открывать не чей-нибудь корпус, а наш.

— И это верно, Эр-Пэ.

— Знаете, Прествик, заглядывая в будущее, я убеждаюсь, что мы вступаем в эру, когда религия забудет об антагонизме и недоверии к массовым средствам связи и обе стороны научатся сотрудничать на взаимовыгодных началах.

— Прекрасная мысль, Эр-Пэ.

— Запишите, Прествик, пригодится для речи, с которой я выступлю на той неделе в обществе содействия прогрессивному телевидению.

— Уже записал, Эр-Пэ. Она входит в тот текст, что я для вас подготовил.

— Хорошо, Прествик, хорошо. Она, безусловно, подтверждает мой взгляд на значение этики. А насчет богословского колледжика... вы говорите, Прествик, это богословский колледж?

— Исследовательский институт, Эр-Пэ.

— Так вот, исследовательский институтишка обратился к нам с просьбой о помощи. Мы не стали спрашивать какой он протестантский, католический или иудейский. Стали мы спрашивать, Прествик?

— Да нет, Эр-Пэ, потому что у нас...

— Потому что у нас это не принято. Вне зависимости от их цвета кожи, расы и вероисповедания мы оказали им посильную помощь.

— Пятьдесят тысяч фунтов, Эр-Пэ.

— Пятьдесят тысяч фунтов.

Три круга по комнате мистер Пошлак проделал в сосредоточенном молчании. От непрерывного кручения в вертящемся кресле у сэра Прествика все плыло перед глазами и к

горлу подступала тошнота.

— Пятьдесят тысяч фунтов, — повторил мистер Пошлак. Пятьдесят тысяч... эту сумму утвердило правление, так ведь, Прествик? Да? Но нас ждут дела. Какие дела нас ждут, Прествик?

— По-моему, Эр-Пэ, вы хотели утрясти вопрос о том, чтобы изъять из кабинетов всех руководящих работников плакаты «мыслим масштабно».

— Ага. Мы решили, что для такой организации, как наша, они чуть-чуть простоваты, не так ли? Одна из ваших наименее удачных находок, Прествик, хотя, как известно, я никогда не вмешиваюсь в то, как вы налаживаете культуру. Что же вам удалось состряпать взамен?

— А как бы вы отнеслись к девизу «согласуй!»?

В кабинет на цыпочках прокралась секретарша мистера Пошлака. Он опять знаком приказал ей удалиться и, углубленный в себя, встал перед Ротко — поплюнил палец и потер пятно на холсте, чтобы выяснить, краска это или грязь.

— Вспомнил, что я хотел уточнить, — сказал он. — Кто у нас сейчас ставит «Обхохочешься»?

Весь Институт исследования автоматике имени Уильяма Морриса так и звенел от лязга стальных строительных балок, их сбрасывали вниз с большой высоты. Новый корпус этики был почти готов. Давно пора. Шум и прочие неудобства, связанные со стройкой, существенно уменьшили количество автоматике, которую институт успел исследовать за минувшие два года. Согласно подсчетам компетентных лиц, если бы принципиально новые программы для вычислительных машин (а именно такие программы и разрабатывал институт) создавались бесперебойно, то в ближайшие десять лет миллиона два специалистов оказались бы без работы. А так все же был риск, что кое-кто из этих двух миллионов останется при деле или по крайней мере будет безработным лишь частично. Но, как утверждают оптимисты, ради прогресса кто-нибудь непременно должен страдать.

Доктор Голдвассер, начальник отдела прессы, уже страдал. С каждым новым звоном или лязгом он подсакивал, а с каждым подскоком раздражался все сильнее и сильнее. Ему не хотелось, чтобы подчиненные видели как он подсакивает, а то еще подумают, будто у него шалют нервы. С другой стороны, ему не хотелось, чтобы подчиненные видели, как он четвертый раз за три часа отправляется в туалет, где было тихо, а то еще подумают, будто у него шалит мочевоу пузырь.

Он беспокоино выглянул из окна — не видно ли, как достается другим. Из других удалось разглядеть только начальника спортивного отдела Роу: его лаборатория находилась как раз напротив, через двор. Роу, казалось, был всецело поглощен работой, а это скорее всего означало, что работает он не над автоматизацией спорта, а над романом, который, как поговаривали, пишет. Роу то склонялся над письменным столом, и тогда вихры волос закрывали ему глаза, то ошалело тарацился в окно, вертя мизинцем в правом ухе. Время от времени он вынимал палец и рассеянно обозревал его, словно надеялся обнаружить следы нефти или урановой руды. Созерцание писателя, охваченного порывом истинного вдохновения, совершенно потрясло Голдвассера, и чуть погодя он поймал себя на том, что из солидарности тоже ковыряет мизинцем в правом ухе.

Он раздумывал, не зайти ли к Роу поболтать. Это подкрепило бы его душевные силы. Роу безусловно уступает ему в уме, а дело дошло уже до того, что, как молчаливо признавал Голдвассер, ему для душевного покоя нужно было иногда поговорить с людьми, заведомо уступающими ему в уме. Не с глупцами (им вообще ничего не скажешь), а с людьми умными, но настолько, чтобы это таило в себе опасность. Такая установка предполагала широкий круг потенциальных утешителей — почти весь институт, за исключением Мак-Интоша, начальника отдела этики.

Ох уж этот Мак-Интош! Он был самым близким другом Голдвассера, и при одной лишь мысли о нем в душе тотчас вскипало привычное раздражение. Он раздражал Голдвассера двумя способами: иногда тем, что казался слишком глупым собеседником, а иногда тем, что казался умнее даже самого Голдвассера. Еще сильнее, чем обе эти крайности, раздражала внезапность перехода из одной в другую.

Кто умнее — он сам или Мак-Интош? Есть же какой-то объективный критерий! Голдвассер не сомневался, что когда-то он был бесспорно умнее Мак-Интоша. Но он сдавал. Во всяком случае боялся, что сдает. Он был твердо уверен, что ум у него типа *Cercbrum Dialectici* — ум логика или вундеркинда, ранний цветок, увядающий после тридцати лет. Его беспокойство по этому поводу переросло в нечто похожее на душевную ипохондрию. Он всячески проверял свои умственные способности, выискивая симптомы упадка. Брал у коллег комплекты тестов на IQ и

хронометрировал операции, а результаты воплощал в графиках. Когда график получался в виде нисходящей кривой, Голдвассер уверял себя, что виновата несовершенная техника, а когда в виде восходящей скептически твердил себе, что это, скорее всего, результат ошибки.

Характерным симптомом упадка, как он порой думал, была утрата собственных мнений. У одних есть вера, у других мнения. Некогда у Голдвассера было собственное мнение обо всем, что он слышал, а с четырнадцати лет он слышал почти обо всем во вселенной. Когда его мыслительный аппарат был в зените, Голдвассер разделил все мироздание на две категории: на то, что он одобрял, и то, что отвергал. А теперь мнения выпадали у него, как у стариков — зубы. Круг непосредственных интересов сузился от судьбы пи-мезона и теократии языческих богов до лихорадочного гадания о том, кто умнее — он или Мак-Интош.

Из окна Голдвассеру не был виден Мак-Интош, поскольку тот скрывался в готической крепости старого отдела этики, но шумная разборка лесов нового корпуса мешала Голдвассеру выкинуть Мак-Интоша из головы. Неужто Мак-Интош умнее? Относится ли мозг Мак-Интоша, как и его собственный, к типу *Cerebrum Dialectici*? Если так, то сейчас этот мозг в самом расцвете, но постепенно начнет хиреть теми же темпами, что и его собственный, если его собственный действительно хиреет. Или же у Мак-Интоша *cerebrum Senatoris* — мозг мудрого старца, медленно созревающий с годами? Если он таков, то может сравняться с мозгом Голдвассера, и это не доказывает, что способности самого Голдвассера ухудшаются. Но если мозг у макинтоша типа *cerebrum Senatoris*, то в отличие от *Cerebrum Dialectici* он будет совершенствоваться по сравнению с голдвассеровским, а это перспектива не слишком радужная. Голдвассер уныло повертел пальцем в правом ухе. Теперь ухо зудело уже по-настоящему.

Вдруг Голдвассер почувствовал, что за ним следят, и перехватил пристальный взгляд, устремленный ему в спину из окошка, что выходило в коридор. Взгляд принадлежал Нунну заместителю директора института. Нунн бодро улыбнулся и чуть заметно помахал рукой. Голдвассер нервно кинулся назад, вглубь кабинета. Он поспешно вынул палец из уха, потом засунул снова, будто все время держал его там во имя серьезных научно-исследовательских целей, а затем стал рыться в бумагах у себя на столе.

Может все-таки сходить лишний раз за малой нуждой?

В туалете для начальников отделов, когда он туда вошел не было никого, кроме главного швейцара Джелликоу. Джелликоу перегнулся через умывальник к самому зеркалу и миниатюрными ножничками подравнивал усы. Он покосился на Голдвассера.

— Привет, мистер Голдвассер, — сказал он и вновь занялся усами.

— Привет, — ответил Голдвассер, до сих пор не решивший для себя, как же называть швейцара — Джелликоу или мистер Джелликоу. Он помочился, потом щедро наполнил раковину горячей водой и вымыл руки. В туалете царили тишь и гладь, особенно заметные, когда их нарушали периодические всхлипы спущенной воды и едва слышное позвякивание ножничек Джелликоу.

— Я вижу, доктор Ребус опубликовала еще одну статью о случайном распределении, — не совсем внятно выговорил Джелликоу, оттопыривая верхнюю губу.

— Ага, — подтвердил Голдвассер, разглядывая свое отражение в зеркале. В общем и целом сомневаться нечего, он умен, даже чересчур умен на добрую половину, а то и на три четверти умнее, чем надо.

— Вы прочли, сэр? — спросил Джелликоу.

— Нет, — сказал Голдвассер. Газету, не говоря о научной статье, он мог читать только одним способом — от конца к началу, от низа полосы к ее верху, от заключительной фразы к заголовку, постепенно распаяясь и превращая каждый параграф в очередную головолomную задачу на сообразительность. В дни особой депрессии он сознательно увеличивал дозу

мазохистского удовольствия, которое извлекал из своего чудачества, и прочитывал от конца к началу каждую фразу.

— Блистательная работа, — сказал Джелликоу. — Во всяком случае, мне так думается.

Обратным ходом Голдвассер разглядывал и серийные карикатуры, с удручающей безошибочностью заранее предугадывая, что увидит на первой картинке, и изнывая от скуки из-за того, что невозможно смотреть от конца к началу каждую отдельную картинку.

— Я узнал из верного источника, что к нам собирается королева, — сказал Джелликоу.

— Вот как? — ответил Голдвассер.

Книги он тоже прочитывал от конца к началу. Когда он брал книгу в руки, ему претила мысль об унылой авторской презумпции, будто он ничего не знает о героях и в первых главах надо его с ними знакомить.

— Нанести институту официальный визит и открыть новый корпус. Что вы об этом думаете, сэр?

— Гм, — промычал Голдвассер.

Не исключено, что он стерпел бы церемонию знакомства с героями книги, выяснив наперед, чем они кончили: умерли, переженились или смирились с судьбой. Но кому интересно узнать, что некий совершенно незнакомый тебе человек умер, женился или смирился с чем бы то ни было?

— Лично я думаю, — сказал Джелликоу, — что в известном смысле это знаменует начало эры исследований в области автоматике. Мы завоевываем социальный престиж.

В общем-то Голдвассер решил, что предпочитает телевидение: там, предопределяя должный порядок, всем заправляет некая Force majeure, там нет скидок на экстравагантные вкусы людей вроде него, слишком умных, чтобы знать, что идет им на пользу.

Он задумчиво высушил руки под пневмосушилкой.

В коридоре у туалета, с ракеткой для сквоша под мышкой, согнувшись в три погибели, прижал ухо к замочной скважине заместитель директора Нунн. Он не мог допустить, чтобы начальники отделов приглашали низших служащих в свой туалет. Так расшатывается дисциплина и создается почва для гораздо более серьезных проступков. Опять Голдвассер, конечно. Нунн заглянул в блокнот «Энтузиаст регби». Нынче утром Голдвассер посетил туалет в четвертый раз. Джелликоу сегодня зашел сюда впервые, но зато сидит уже минут двадцать.

Нунн был как нельзя более доволен результатами бдения у замочной скважины. Они подтвердили его теорию, что повседневная слезка зачастую приносит неожиданные плоды. Не подслушивал бы на предмет выяснения, почему Голдвассер общается с низшими служащими, — не разузнал бы, что в институте ожидают королеву. Для институтского начальства это весьма ценная информация. Он сделал пометку в блокноте в графе «Размер перчаток». «Королева», записал он и вернулся к листку «Последние поезда», где регистрировал деятельность Голдвассера. «Голдвассер», — записал он.

Голдвассер вышел из туалета. Нунн поспешно распрямился.

— Очень здорово, — сказал он хмыкнув и сжал руку Голдвассера. Затем, обутый в кеды для бадминтона, бесшумно двинулся прочь по коридору.

«Хью Роу, — отпечатал Хью Роу, — блистательная новая фигура на литературной арене. «Р» — первый его роман, и критики, рецензировавшие это произведение перед выходом в свет, провозгласили автора «самым пленительным из новых голосов, что стали слышны после войны» и «ослепительным новым талантом, который сногсшибательно сочетает в себе трезвую весомость Роб Грийе с размахом комических традиций П.Г.Вудхауза» (подробно об этом см. задний отворот суперобложки)».

Роу остановился и покрутил пальцем в ухе. Писать роман — дело поразительно трудное. До этого места Роу доходил раз десять, не меньше (пол и письменный стол были завалены отвергнутыми вариантами), но неизменно убеждался, что никак не может сдвинуться с мертвой точки. Он попробовал сызнава.

«Р» — история пьяного попа, которого замучили угрызения совести, ибо он совершал все грехи, от богохульства до убийства; его пугает то, с какой легкостью он вновь и вновь возвращается (и сам с глубочайшей внутренней убежденностью сознает это) к состоянию благодати».

Роу поморщился, вынул лист из пишущей машинки. И начал сызнава.

«Р» — повествование о четырех лицах: беглом диктаторе, корректоре, спившемся герое войны и профсоюзном деятеле с ярко выраженным классовым сознанием; все они очутились под палящим зноем на заброшенном острове близ пролива Торрес. С ними молодая и красивая светская дама, которая собирается в монастырь...»

Роу заложил в машинку новый лист.

«Р» — одиссея разочарованного писателя, который сквозь цепь фантастических приключений (каждое из них — безжалостная сатира на различные стороны нашей действительности) стремится к «Р» туманной цели; порой это город, порой наркотик, порой женщина...»

Роу вздохнул и стал глядеть во двор. Голдвассер уже не торчал у окна. А ведь довольно долго было видно, как он ковыряет в ухе. До чего неаппетитные привычки у иных субъектов. Роу опять вздохнул, энергично повертел пальцем в ухе и вложил в машинку чистый лист.

«Р» — повесть о юноше, который делает карьеру и твердо намерен уничтожить все преграды, отделяющие его от блондинки с собственным «ягуаром» модели...»

Роу застонал. Боже правый, может, действительно, легче сперва написать книгу, а потом уж рекламу для суперобложки? Интересно, в каком порядке делают это другие писатели?

А все же первый абзац удался на славу. «Самый пленительный из новых голосов» — фраза довольно броская. Роу испытывал блаженство и в то же время странное смирение при мысли о том, как аккуратно разложены по полочкам его достоинства и таланты, с какой прямодушной готовностью хвалит он все, что заслуживает похвалы.

Книга, несомненно, подвигается. Это главное. Он бережно спрятал все черновики, чтобы грядущему критику легче было проследить эволюцию авторского замысла, и для разнообразия принялся за автоматизацию спорта.

В старом здании отдела этики по стенам плясали ярка, зыбкие блики; легкие, почти неразличимые звуки, сказочно преобразившись, отдавались гулким эхом. Дверь за Голдвассером захлопнулась с таким грохотом, точно выстрелили из гаубицы. Голдвассер нервно дернулся. Мак-Интош обернулся к нему и кивнул. Он занимал свою излюбленную позицию при исследованиях этических проблем. Терпеливый и бесстрастный, он стоял на портале подъемного крана, подобно капитану на мостике, облокотясь на поручни, и ни единый мускул его большого багрового лица не шевелился.

— Поднимайтесь сюда, — пригласил он Голдвассера, и его слова внушительно повисли в воздухе, как напечатанные.

Голдвассер вскарабкался по металлической лесенке. Портал высился над испытательным резервуаром Мак-Интоша. Макинтош очистил свой отдел от всего лишнего — мебели, стен, полов и все это заменил испытательным резервуаром для этических автоматов. Целеустремленный был мужчина.

— Мы как раз проводим последний серийный опыт, — сказал Мак-Интош. Голдвассер ничего не ответил. При виде испытательного резервуара ему всегда становилось как-то не по себе. Резервуар напоминал ему бассейны для плавания и заставлял стыдиться своих дряблых бицепсов. Голдвассер все время ждал, что банда богатырски сложенных плебеев без всяких признаков духовной жизни накинется на него и сбросит в воду. На дальнем краю резервуара тихонько хихикнула девушка; эхо заулюлюкало по всему зданию, словно некое божество гомерически расхохоталось над ним, Голдвассером.

Порой и самому Мак-Интошу испытательный резервуар напоминал бассейн для плавания. Летом Мак-Интош изредка нырял туда с портала, прямо в одежде, и плавал допотопными саженками взад и вперед под уважительные шуточки подчиненных. Делал он это, чтобы доказать собственную непосредственность и легкомысленное пренебрежение условностями, и еще потому, что в гардеробной у него висел запасной комплект одежды; да кроме того, вислое брюхо меньше угнетает, когда ты в костюме.

— Майна, — распорядился Мак-Интош. Подъемный кран развернул над водой плот и начал его опускать. На плоту, угрюмо пялясь друг на друга, сидели старший научный сотрудник Синсон в желтом спасательном поясе и этический автомат «Самаритянин-2». Резервуар окутала величественная гулкая тишина.

Все усилия своего отдела Мак-Интош сосредоточил на самаритянской программе. Этическая проблема в ее чистом виде, как он себе представлял — это двое на плоту, выдерживающем только одного, и он все старался построить автомат, который разработал бы четкий алгоритм этичного поведения для таких обстоятельств. Первая модель, «Самаритянин-1», прыгала за борт с величайшей охотой, но прыгала ради спасения любого предмета, оказавшегося рядом с ней на плоту, от чугунной болванки до мешка мокрых водорослей. После многонедельных жарких препирательств Мак-Интош согласился, что недескриминированная реакция — явление нежелательное, забросил «Самаритянина-1» и сконструировал «Самаритянина-2», который жертвовал собою ради организма хотя бы уж не менее сложного, чем он сам.

Плот замер, медленно раскручиваясь в нескольких метрах над водой.

— Пошел! — крикнул Мак-Интош.

Плот ударился о воду с отрывистым всплеском, похожим на выстрел. Синсон и «Самаритянин» не дрогнули. Постепенно плот выровнялся, его начали захлестывать небольшие

волны. Вдруг «Самаритянин» подался вперед и ухватил Синсона за голову. Четырьмя экономными движениями он измерил габариты Синсонова черепа, затем помедлил, вычисляя. Наконец, после заключительного щелчка, автомат боком скатился с края плота и без колебаний затонул на дне резервуара.

— Спаси его, господи! — приказал Мак-Интош молодому человеку в плавках, стоявшему наготове возле самой воды. Господи нырнул и обвязал затонувшего «Самаритянина» канатом.

— Отчего бы не привязывать к нему канат до того, как он кувыркнется за борт? — спросил Голдвассер.

— Он не должен знать, что его спасут. Иначе решимости жертвовать собой грош цена.

— А как же он узнает?

— Да ведь «Самаритяне-2» — хитрюги. Иногда мне чудится, будто они понимают каждое наше слово.

— Они слишком низко организованы, Мак-Интош...

— Нет-нет, они проникаются доверием к людям. Поэтому время от времени я кого-нибудь не выуживаю, оставляю на дне. Надо же показать остальным, что я не расположен шутки шутить. Двоих уже списал на этой неделе.

«Самаритянина» отбуксировали к краю резервуара и перевернули вверх тормашками, чтобы вылить воду. Время от времени он испускал едва слышное тиканье и содрогался.

— Слыхали новость о новом корпусе, а? — спросил Голдвассер.

— А что такое?

— Насчет королевы.

— Нет.

— Она приезжает на открытие.

— Неужели?

Он перегнулся через поручень и проорал:

— Эй, господи! Все в порядке? Тогда готовь его к следующему рейсу.

— А теперь что будет? — спросил Голдвассер.

— Начинаем новую серию опытов — поведение относительно менее сложных организмов.

Подъемный кран опять водрузил «Самаритянина-2» на портал. На индикаторах и градуированных дисках автомата появилось нечто новое, поразившее Голдвассера.

— Вам не кажется, что у него ханжеский вид? — спросил он у Мак-Интоша.

— Да уж так всегда, стоит ему только окунуться. Мелкий конструктивный недостаток.

Устраним при доводке.

— Но, Мак-Интош, если самопожертвование доставляет ему удовольствие, это ведь нельзя считать решением этической проблемы, правда?

— Не понимаю, почему бы ему не получать удовольствия от праведных поступков.

— Какая же это жертва, если приносишь ее с удовольствием?

— Да вы истый пуританин, Голдвассер! Что праведно, то праведно, а если извлекаешь удовольствие их праведного поступка, то тем лучше.

— Поступок, может, и праведный. Но, согласитесь, Мак-Интош, этически он не интересен!

Доведенные до белого каления, они пронзали друг друга взглядами. Голдвассера бесила мысль, что этот упрямый жирный тугодум в чем-то немаловажном, может быть, умнее его самого. Но, наверное, и Мак-Интоша бесила мысль о том, что в конечном итоге его здравый, неповоротливый мозг не выдерживает конкуренции с блистательным умственным аппаратом Голдвассера.

— Как бы там ни было, — сказал он, — на открытие вашего нового корпуса приедет королева.

— Надо полагать, Нунн снова нажал кнопки?

— Надо полагать, так.

— Еще раз запрягли элиту.

— Надо полагать, это значит, что вам волей-неволей придется поставить там хоть какие-то опыты.

— Ничего подобного.

— Все равно намерены бойкотировать?

— Безусловно. Я же вам говорил. И Нунну говорил. Не желаю иметь с новым корпусом ничего общего. Нечего мне там делать. Я достаточно загружен самаритянской программой.

Твердишь-твердишь одно и тоже с утра до вечера.

— Будут неприятности.

— Ну и пусть.

На помост подняли увесистый мешок с песком и уложили на плоту бок о бок с «Самаритянином».

— Майна! — рявкнул Мак-Интош.

Плот взметнулся над водой и стал без рывков опускаться. Снова наступила гулкая тишина.

— А здесь ведь логическая неувязка, — ни с того ни с сего заявил Голдвассер, и голос его загудел под самой крышей.

— Вира! — рявкнул Мак-Интош.

Всплеск воды слился с отголосками слов «неувязка» и «вира», их пошло бросать от стены к стене, от резервуара к потолку. Пока плот восстанавливал равновесие, «Самаритянин» и мешок бесстрастно созерцали друг друга. Когда плот стало захлестывать, «Самаритянин» ухватил мешок и попытался измерить объем его черепа. Он сделал было свои четыре экономных движения, но, сбитый с толку не похожей на череп формой мешка, помедлил, принял какое-то решение, задумчиво пожужжал и замер в неподвижности.

— Умница, — тихонько выдохнул Мак-Интош.

Плот погрузился лишь частично. Но постепенно вода покрывала «Самаритянина» и мешок, а те стоически смирились с судьбой. Первым исчез под водой мешок. За ним, напоследок окинув мир безропотным взглядом мученика, исчез и «Самаритянин». Набухший, съезжившийся, темный, искаженный в воде предмет неотвратимо опускался на дно.

— Ну вот, надеюсь, теперь у вас нет возражений против «Самаритянина-2», — сказал Мак-Интош. — Видите, он даже не пытается жертвовать собой ради мешка.

— Вижу, — ответил Голдвассер, — но, Мак-Интош, вы ведь добились только того, что ко дну пошли оба.

— Эх, Голдвассер, — сказал Мак-Интош, — какой же вы закоренелый циник.

Нунн положил на письменный стол ракетку для сквоша, которую не выпускал из рук. Заодно, раз уж он оказался у письменного стола, стоило уточнить по календарю дату хенлея. Затем выбрал клюшку в сумке для гольфа (она лежала в углу кабинета) и начал практиковаться в подаче с метки — кольшка, поставленного среди ковра.

Он был человек благоразумный. Знал, что ответственный руководитель должен лелеять свои способности руководителя. И потому всю текучку перекладывал на плечи секретарши, мисс Фрам, а сам целиком посвящал рабочий день тому, чтобы сохранять форму. Он придерживался тщательно составленного расписания игр, готовился к играм, смывал с себя усталость после игр, следил, как играют другие, разговаривал об играх и продумывал разговоры об играх. Пока мисс Фрам вкальвала в приемной — проверяла выплату денег служащим, нанимала новых лаборантов, препиралась с представителями профсоюза, борющимися за равноправие в столовой, — Нунн у себя в кабинете смазывал крикетную битку, отвлекаясь лишь, чтобы послать мисс Фрам за билетами на полицейский чемпионат по боксу или в магазин спорттоваров за очередной дюжиной воланов. Так он сохранял бодрость духа до той поры, когда придется вершить дела, достойные его ответственного руководства.

Кроме того, игры — дело важное еще и по другой причине. Они дают тему для разговоров с подчиненными. Нунн, как он часто подчеркивал, сам-то не был кибернетиком. Большую часть жизни он подвизался на интеллектуальной службе офицера армейской контрразведки, оттапывал пальцы ног безвестным смутьянам в безвестных колониях занятием, привившее ему здоровые практические навыки командования людьми и подхода к ним. В качестве руководителя он обнаружил, что игры — тема, на которую можно поговорить со всяким. Об играх он разговаривал со своими подчиненными-рядовыми. Об играх он разговаривал со смутьянами при допросе, чтобы разрядить обстановку, прежде чем оттапывать им пальцы ног. Об играх он разговаривал со всеми начальниками отделов в институте. Солдаты, черномазые, долгогривые интеллигенты — все вы из одного теста сделаны. Заговори с ними об играх сразу беспомощно умолкают.

Об играх он разговаривал и с директором — привычка, ставшая главным стержнем в жизни Нунна. Нунн положил на место клюшку для гольфа и на цыпочках прокрался по ковру к двери, сообщаясь с директорским кабинетом. Он наклонился, заглянул в замочную скважину. Директор восседал за столом крупный неуклюжий мужчина за письменным столом с зеркально отполированной и совершенно голой крышкой. Нунн всматривался в директора с благоговейным ужасом. Массивное тело абсолютно неподвижно. Локти покоятся на столе, ладони сцеплены, большие пальцы плотно прижаты к губам, словно директор вот-вот издаст разбойничий посвист. Маленькие блекло-голубые глазки на широком лице устремлены в одну точку стола — туда, где обычно стоит держатель для авторучки. Невозможно догадаться, какие чудеса автоматизационной, философской, кибернетической, семантической, организационной и поистине космологической мысли свершаются в этой массивной голове. Человек явно героических качеств, хотя каких именно — неизвестно, ибо по отдельности они терялись в бескрайней возвышенности целого. Собственно, одним из немногих его доподлинно индивидуальных качеств (а вспомнить, что таковые у него имеются, стоило превеликого труда) была фамилия, а именно Чиддингфолд.

Нунн питал глубочайшее уважение к Чиддингфолду. В разговорах с начальниками отделов называл его «герр директор» или «большой белый вождь» — так крайне религиозные люди покровительственно упоминают о боге и его окружении, желая показать, что они с этой

компанией на самой короткой ноге и им нет нужды заботиться о показной почитительности. По той же причине Нунн держался с Чиддингфолдом более или менее как с ровней. Его жизнерадостную болтовню о свернутых шеях, разбитых коленках и выколотых глазах Чиддингфолд неизменно выслушивал с вежливой натянутой улыбкой. Точно так же выслушивал он и веселые служебные сплетни, которыми Нунн тоже развлекал директора: предположения, что Ребус — на самом деле мужчина, Голдвассер — женщина, а Хоу — существо среднего пола. Но директор только улыбался натянутой улыбкой, и его бледно-голубые глаза кротко таращились на солнечное сплетение Нунна.

Нунн не впадал в еретическое заблуждение и не ждал, что Чиддингфолд как-нибудь проявит свое могущество. Человеком, который на деле заправляет институтом, на деле выносит решения, он считал себя. Но в глубине души он осознавал: власть его полноценна только потому, что исходит от молчаливого божества, восседающего в соседнем кабинете. Без божества не стало бы ни этой излучаемой власти, ни авторитета, на который опирается он сам и его подчиненные. Пусть Чиддингфолд никогда не произносил ничего, кроме «доброе утро» и «добрый вечер». Пусть он оказался бы совершенно нем или невменяем. Пусть он даже стал бы невидимкой. Все это не имело значения, важно было только одно: он наличествует.

Тем не менее Нунну хотелось бы разузнать побольше о том, что творится в огромной голове Чиддингфолда, когда черты его лица застывают в любезной микроулыбке. Улыбка эта была скроена на человека куда менее крупного, чем Чиддингфолд, и оставляла широкий простор для маневрирования. Само собой, думы, которые думает Чиддингфолд, необъятны и божественны; но, быть может, среди них затесались соображения, неблагоприятные для веселого, простецкого спортсмена Нунна. Порой Нунну казалось, что ему стало бы легче, если бы в один прекрасный день блеклые глаза взглянули бы на него в упор и Чиддингфолд сказал бы: «...чтоб ты сгорел». По крайней мере Нунн знал бы тогда, на каком он свете. А так — приходилось нарушать расписание игр и вот как сейчас, подглядывать в замочную скважину смежного с ним директорского кабинета, надеясь застать Чиддингфолда за каким-нибудь деянием, выдающим его истинное отношение к Нунну. Но Чиддингфолд неизменно делал одно и то же. Неизменно восседал за письменным столом, громоздкий и неуклюжий, облокотясь на полированную голую крышку, подпирая большую голову сцепленными пальцами; недвижимый, мозговитый, даже чересчур великий для ничтожества человеческих будней.

Охваченный каким-то почитительным раздражением Нунн беззвучно вздохнул и выпрямился. Он постучал и вошел в кабинет.

— Доброе утро, директор, — сказал он.

— Доброе утро, — ответил Чиддингфолд, приподняв голову с больших пальцев и растянув губы в микроулыбке.

— «Нью Саут Уэльс» ведет со счетом 147:5. Передавали на коротких полчаса назад. У одного из игроков открытый перелом большого пальца. Говорят, пока его выносили с поля, он себе всю фуфайку кровью заляпал.

Голова Чиддингфолда вновь опустилась на подпорки. В знак того, что он расслышал, на его лице мелькнула и тут же пропала вежливая улыбка.

— Не знаю, директор, заглядывали ли вы когда-нибудь в сортир для начальников отделов, — продолжал Нунн, примостясь на краешке первого попавшегося столика. — Но кое-кто из джентльменов повадился туда шастать по пять–шесть раз за утро. Пусть я старый черствый солдафон, но мне кажется, это уж слишком, разве что у них есть справки от врачей. Самый злостный нарушитель — Голдвассер. И еще одно. Туда постоянно ходят низшие служащие. У них своя отличная уборная, и они без явного поощрения не посягали бы на уборную для начальства. Будем смотреть фактам в лицо. Я твердо уверен, что их приглашает

туда Голдвассер или, во всяком случае, не гонит шею, что в сущности равносильно. Да и не впервые Голдвассер дает мне повод взять его на заметку. За этим типом нужен глаз да глаз.

Нунн взглянул на Чиддингфолда — выяснить, как тот реагирует на ценные сведения. Никакой реакции не было и Нунн продолжал:

— Так или иначе пусть учтет, что я опять взял его на заметку.

Нунн принялся изучать носки своих ботинок. Он все раздумывал, как бы поискуснее затронуть вопрос о королевском визите, чтобы не выдать смехотворной неосведомленности, если Чиддингфолд уже в курсе.

— Теперь вот насчет приезда королевы, — сказал он наконец.

Огромная голова тотчас же снялась со своего пьедестала и блекло-голубые глаза ошарашенно посмотрели на Нунна.

— Ага, — сказал Нунн, — вы, значит, не в курсе, директор?

Голова совершила микрокачение из стороны в сторону.

— Ну, по-видимому, королева нанесет институту официальный визит и откроет новый корпус.

Голова медленно вернулась на пьедестал. Однако глаза теперь смотрели не на держатель для авторучки, а в окно. Новость явно взволновала Чиддингфолда.

— Так по крайней мере сообщают осведомители, — сказал Нунн. — Разумеется, это пока неофициально. Не люблю впадать в высокий штиль, но мне (я ведь излагаю свое личное мнение), мне кажется, что в известной степени это знаменует пришествие новой эры научных исследований в области автоматике.

В какой-то миг Чиддингфолд поднял глаза на Нунна.

— Мы завоевываем социальный престиж, — сказал Нунн. Откровенно говоря, директор, я подумал, что это вы нажимаете кнопки.

Чиддингфолд позволил себе на миг озариться бледной улыбкой отрицания.

— Нет? — сказал Нунн. — Что ж, значит, это Ротемир Пошлак с приятелями. Опять пущена в ход так называемая элита. Мне кажется, в данном случае в этом есть своя прелесть. Ума не приложу, как им удалось этого добиться. Надо полагать, когда занимаешь такое положение, как Пошлак, достаточно шепнуть словечко кому следует. Деньги по-прежнему великая сила, никуда от этого не денешься.

Чиддингфолд вновь устремил взор на держатель для авторучки. Нунн почувствовал, что аудиенция подходит к концу.

— Очень здорово, — сказал он и сверился с часами. — Извините, директор, я должен покинуть вас и взяться за работу. Сегодня у меня напряженный день.

Чиддингфолд сдобрил едва приметный кивок подобием улыбки.

— Благодарю вас, — проронил он.

Нунн вернулся к себе в кабинет и разыскал старые футбольные бутсы.

— Да, мисс Фрам, — сказал он секретарше в приемной. Будьте ангелом, отнесите сапожнику в починку до закрытия мастерской. А то мне надо поспеть на собачью выставку.

— Конечно, конечно, мистер Нунн, — ответила мисс Фрам.

А когда Нунн умчался, бойко подмигнув ей и крикнув: «Помните, ни слова Бесси», мисс Фрам — ангелу, секретарше, старой деве, душе-человеку, сокровищу и превосходной маленькой женщине — пришла в голову дерзостная мысль.

«Воспользуюсь-ка я отсутствием мистера Нунна, — подумала она. Только прежде занесу в починку его бутсы, да рассужу мойщиков окон, да завизирую счета из столовой, да решу, кому из начальников отделов полагается на будущий год прибавка жалованья, да подберу трех внештатных лекторов для факультативных курсов фресковой живописи, да сформирую

организационный комитет по приему королевы, — а потом уйду домой пораньше, приму таблетку аспирина и посмотрю, не избавлюсь ли я на конец от гриппа».

Роу сидел за машинкой, работал над романом. Точнее, пытался разрешить проблему: как лишить девственности лежавшую перед ним белоснежную первую страницу с таким тактом и пылом, чтобы не испортить с нею отношений навеки. Он уже почти придумал, как это сделать. У него сложился целый стратегический план. А в то же время в голове была каша и Роу никак не мог расхлебать ее и увидеть, в чем же состоит этот план.

Но вот он исступленно набросился на страницу, преодолев все внутренние барьеры.

«К», — отпечатал он.

И посмотрел на нее. Его одолело уныние. Трудно было выбрать для начала букву более неприветливую или менее тактичную. Он рванул страницу из машинки, заложил чистую и снова задумался.

«К», — отпечатал он вдруг.

Что за мерзкая буква! За всю историю литературы она еще не довела до добра ни одну фразу, которая ею начиналась. Роу опять сменил страницу.

«К», — отпечатал он.

С ума он что ли сошел? Роу забил бездушную букву и начал сызнава. «К», — отпечатал он. Забил. «К», — отпечатал он. Забил.

Он откинулся на спинку кресла и повертел пальцем в ухе. Вдруг до его сознания дошло, что Голдвассер опять наблюдает за ним из окна своей лаборатории. Он поспешно вынул палец из уха и огляделся. Голдвассер тоже вынул палец из уха, помахал рукой и нервно метнулся прочь. Роу с новым пылом принялся за работу.

«Хью Роу», — отпечатал он. Ага, вот это уже на что-то похоже!

«Родился, — отпечатал он, — в Бромли, в семье агента по страхованию военных моряков. Учился в бромлийской средней классической школе, где был редактором школьного журнала и ведущим актером в школьном драмкружке. Отбыв воинскую повинность в войсках ее величества на казначейской службе, он преподавал географию в Селуине, получил ученую степень и поступил в Институт исследования автоматике имени Уильяма Морриса, где сейчас возглавляет отдел спорта. Женат.»

Он критически осмотрел свое изделие. Недурно, если учитывать контекст, а именно фото самого Хью Роу с трубкой в зубах, в профиль, подчеркнутый искусной подсветкой. Он достал фото и подержал его над только что отпечатанным абзацем.

Может, фото сделать чуть пошире? Или квадратнее? Или, может быть, надо улучшить сам текст? Первые два слова абсолютно на месте. Но достойно ли трубки все остальное? Не нарушает ли ритма, заданного линией подбородка? Он вставил в машинку чистый лист бумаги.

«Хью Роу, — отпечатал он, — лондонец по рождению, вырос в семье потомственного моряка. Компетентные лица отметили его незаурядные способности, когда ему было всего одиннадцать лет. Но он не просто ученый. Еще в отрочестве он испробовал себя как журналист и актер, а не достигнув двадцатилетнего возраста, поддался романтическим порывам души и вступил в армию. Сомневаться в его солдатской доблести не приходится. Ныне он не только один из самых перспективных писателей своего поколения, но и ведущий специалист в новой увлекательной отрасли — исследованиях автоматике».

Томимый жаждой совершенства, он рванул лист из машинки и начал все с самого начала.

«Хью Роу, — отпечатал он, — человек многогранный. Журналист, писатель, острослов, ученый, философ, актер, солдат, почтальон, он перепробовал все эти профессии и многие другие...»

Усыпляющую тишину лаборатории Голдвассера в отделе прессы нарушал лишь робкий шорох усталого линотипа. Научные сотрудники гнули спины над всеобщим экспериментом, демонстрирующим, что теоретически цифровую вычислительную машину можно запрограммировать на выпуск абсолютно полноценной ежедневной газеты с заметками столь же разнообразными и содержательными, как и старинные, написанные от руки. Изнывая от скуки, сотрудники молча продирались сквозь пачки газетных вырезок — определяли жанр статей и выявляли в них стандартные переменные и постоянные. За другими столами другие сотрудники переносили переменные и постоянные на карточки и составляли картотеку в такой логической последовательности, что теоретически вычислительная машина могла сама прокладывать себе путь от карточки к карточке и отбирать нужный материал. Как только Голдвассер с коллегами докажет истинность этой теории, из коммерческих соображений ее, без сомнения, поспешат внедрить в жизнь. Тогда завершится стилизация современной газеты. Прервется последняя, остаточная связь прессы с рыхлым, бестолковым, склочным миром реальности.

Голдвассер взял в руки готовую папку, ожидающую его внимания. Называлась она «Парализованная девушка еще будет плясать!». Внутри было сорок семь газетных вырезок о парализованных девушках, которые твердо решили еще сплясать. Он отложил папку в сторону. Вот уже неделю он каждый день брал ее в руки, смотрел на заголовок и откладывал в сторону, ожидая того дня, когда соберется с силами.

Вместо этой папки он взял другую, озаглавленную «По словам учителя ребенок одет неподобающим образом». В ней были подшиты девяносто пять вырезок о детях, которые, по словам учителя, были одеты неподобающим образом, затем анализ вырезок с разложением их на простейшие составляющие и сопроводительная записка научного сотрудника, который комплектовал папку. В записке говорилось:

«В. удовл. принципиальная схема абсолютно инвариантна. Число переменных сводится к трем: 1) Одежда, против которой выдвинуто возражение (высокие каблуки, нижняя юбка, панталончики со сборками). 2) Курит ли ребенок или красит губы. 3) Ссылаются ли родители на то, что ребенка якобы унижает осмотр неподобающей одежды на глазах у всей школы.

Частота публикаций: каждые девять дней».

Волоча ноги, подошел Ноббс, старший научный сотрудник Голдвассера, и брякнул на стол шефу еще несколько папок. Ноббс отрастил бороду, демонстрируя свою принадлежность к интеллектуалам, ходил ленивой походкой, сутулясь, чтобы пользоваться уважением наравне с аристократией, и всех, кроме директора и его заместителя, величал «брат» из солидарности с пролетариатом. На шефа он оказывал магическое действие — Голдвассера тотчас же одолела бессильная тоска.

— Прощу, брат, — сказал Ноббс, вонзив в Голдвассера слово «брат» точно пружинный нож. — Я как раз комплектую папку «Они считают Англию чудесной». Вроде бы все в порядке. Переменные в основном те, кто как считает: американские туристы, студентки из Дании, приехавшие по обмену, и прочие в том же роде.

— Укажите шифр раздела «Английские девушки лучше всех, утверждают молодые иностранцы», — распорядился Голдвассер. Во избежание путаницы, чтобы не использовать оба

материала в один и тот же день.

— А что бы это изменило, брат? — возразил Ноббс. — Все равно мы ведь ратуем за национальную бодрость духа, правда?

— Пожалуй, — пробормотал Голдвассер, неспособный принудить себя к спору с таким жутким типом, как Ноббс. — Но тогда проставьте шифр папки «Бурлящая, браваурная Британия». Нельзя же ведь сталкивать в один и тот же день все три.

— Ваше слово — закон, о повелитель, — сказал Ноббс. Брат.

«О боже, — взмолился гуманный Голдвассер, — скорее ниспошли Ноббсу беспечальную смерть».

— Вы проверили папку «Парализованная девушка еще будет плясать»? — спросил Ноббс.

— Не успел, — ответил Голдвассер.

— Ну, тогда не вините меня, если в конце месяца мы на целую неделю отстанем от графика, — сказал Ноббс. — Это единственное, брат, о чем я прошу. А как насчет папки «Я собираюсь отдать ребеночка, говорит будущая мать»? Мы с ней ничего больше не можем сделать, пока нет ваших руководящих указаний.

— Сейчас я ее просмотрю, — сказал Голдвассер.

Ноббс поплелся к двери. Голдвассер отвел глаза от карандашницы, где искал прибежища от лицемерия Ноббса, и провожал его взглядом, пока тот, волоча ноги, брел к себе в кабинет, на пути опрокидывая стулья и сметая со столов папки. Затем, вздохнув, он занялся папкой «Я собираюсь отдать ребеночка, говорит будущая мать».

«Встретились с трудностями, — гласила сопроводительная записка. — Частота публикаций — раз в месяц, но в изученных пятидесяти трех вырезках переменные полностью отсутствуют. Даже фамилия будущих матерей одна и та же. Возможно речь идет о пятидесяти трех разных эмбрионах, но по вырезкам не определишь. Пригодится ли нам тема, где нет переменных?»

Голдвассер положил папку в сторону. Только зазевайся и нападут на тебя из засады такие сложные проблемы. Он посмотрел на часы. Ему казалось, что он работает непрерывно в течение невероятно долгого времени. Может быть, он заслуживает передышки; может быть, стоит отвлечься и минут пять поиграть с карточками нейтральных передовиц.

Порой Голдвассер давал себе разрядку — притворялся вычислительной машиной и перебирал какой-нибудь готовый комплект карточек, соблюдая те же логические правила и делая тот же случайный отбор, что и вычислительная машина при составлении заметки. Комплект о дополнительных выборах и комплект о погоде быстро надоедали. Так же как и темы «Испытываю новый автомобиль» и «Малиновых дьяволов забрасывают в мятежную зону». А вот комплект для составления нейтральных передовиц на особо торжественные случаи обладал, казалось, тем неотразимым совершенством, которое снова и снова притягивает нас к любимым полотнам.

Он выдвинул картотечный ящик и взял оттуда первую карточку комплекта. «По традиции», — стояло на ней. Теперь можно было осуществлять случайную выборку — тащить наугад «коронации», «помолвки», «похороны», «свадьбы», «совершеннолетия», «рождения», «смерти» и «венчания в церкви». Вчера он вытащил «похороны» и был отослан к карточке, где с гениальной простотой значилось «печальное событие». Сегодня он зажмурился, вытащил «свадьбы» и был направлен далее к карточке «событие радостное».

Далее в логической последовательности шли «свадьба мистера Икс» и «свадьба мистера Игрек», и Голдвассеру открылись на выбор варианты «не исключение» и «яркий пример». В обоих случаях напрашивалось слово «поистине». Однако, поистине, от какого варианта ни отталкивайся — от коронаций ли, рождений, смертей, — Голдвассер, явно наслаждаясь как математик, замечал, что при всей элегантности решения тут-то и попадаешь в тупик. Он

помедлил на «поистине», затем почти без пауз выхватил «особенно радостное событие», «редкостный» и «видел ли кто-нибудь более прославленную молодую пару?»

Последующие выборки принесли Голдвассеру «Икс снискал (снискала) особую любовь всего народа», и пришлось к этому присоединить карточку «а Игрека английский народ явно принял уже в свое сердце».

Голдвассера удивляло и чуть-чуть тревожило, что не попало еще слово «приятно». Однако он вытянул его со следующей карточкой: «Особенно приятно, когда».

Это дало ему «жених (невеста) должны...» и свободный выбор между происходить из «знатной и благородной семьи», «быть простолюдинами в наш демократический век», «быть выходцами из страны, с которой наша родина давно поддерживает самую тесную и сердечную дружбу» и «быть выходцами из страны, отношения с которой у нашей родины не всегда складывались удачно».

Сознавая, что в прошлый раз он на редкость талантливо распорядился словом «приятно», Голдвассер теперь нарочно вытянул его еще раз. «Приятно также», — стояло на карточке, а за ней без задержки последовало «помнить» и «что Икс и Игрек — не только громкие имена, но жизнерадостный молодой человек и прелестная молодая женщина».

Голдвассер зажмурился, перед тем как тащить следующую карточку. На ней оказались слова «в наши дни, когда». Он призадумался, выбрать ли «вошло в моду глумиться над традиционной моралью брака и семейной жизни» или «вышло из моды глумиться над традиционной моралью брака и семейной жизни». Решил, что второй вариант по форме ближе к пышности, присущей стилю барокко. Вытащил еще одну «приятно», но сочтя, что три раза подряд — на один раз больше, чем нужно даже для прекрасного, непревзойденного слова «приятно», он смошенничал и обменял карточку на «полагается, чтобы» за которой так же верно, как ночь за днем, наступило «пожелаем им счастья», и развлечение закончилось.

Это был подлинный шедевр школы Голдвассера! Токката! Фуга! Как далеко от прозаических повседневных забот!

Голдвассер затеял все сызнова во славу церковного венчания. Но только он добрался до альтернативы «приятно видеть, что старыми обычаями дорожат» и «приятно видеть, что старые обычаи шагают в ногу с современным мировоззрением», как из своего кабинета, волоча ноги, вышел Ноббс; на физиономии у него было написано слово «брат».

— Вот что, брат, — начал Ноббс, — та самая «Парализованная девушка еще будет плясать»...

Но тут, как значится в одной из карточек тематического ящика «Эту улицу называют улицей порока», «наш корреспондент скрылся под первым же благовидным предлогом».

— Но вы же сами говорили, — задыхаясь от злости, бушевала доктор Дженнифер Ребус, глава политического отдела, что визит королевы будет неофициальным и пройдет при минимальном ажиотаже!

Начальник международного отдела миссис Плашков смотрела на коллегу с едва приметной улыбкой глубокого гуманного сочувствия. Она обдумывала, как человеку выйти из положения, проявляя милосердие и в то же время оставаясь практичным. Бесспорно, человек должен сохранять спокойствие и благодушие. Человек должен симпатизировать Ребус и ее личным недостаткам. К концу концов, Ребус — самый тяжкий крест, который приходится нести человеку, а человек верит, что, когда он выражает сочувствие, в нем прибавляется благодати. Разумеется, веря в это, человек смеется над самим собой; но если человека время от времени баловать юмором, это способствует его духовному развитию.

— Вы не так поняли человека, — добродушно поправила она доктора Ребус. — Просто лучше неофициальный визит, если мы хотим с честью выйти из положения.

В жизни миссис Плашков человек занимал несоразмерно большое место. Все ее помыслы были сосредоточены на обязанностях человека, положении человека, достоинстве человека. Бесперывно и самоотверженно обдумывала она, что человек должен делать, кого человек должен любить, как человек будет реагировать. Для себя она не хотела ничего отречься от всех плотских желаний, кроме единственного: делать то, чего хочет человек, и заставить других делать то, чего хочет человек.

Уж если человек — женщина, на него ложится обязанность быть неукоснительно женственной. Человеку следует проявлять снисходительность. Человеку следует разговаривать вполне любезно. Когда скажут что-нибудь забавное, долг вежливости требует от человека скромной снисходительной улыбки, а когда шутка кончится, надо свернуть улыбку и аккуратно спрятать до другого случая. Нечего удивляться, что не только миссис Плашков, но и решительно все сотрудники института панически боялись человека. Тем более нечего удивляться, что приготовления к королевскому визиту были доверены человеку. Если человеку принадлежит местная монополия на *Savoir-Faire* — а так оно по-видимому и было — человек в подобных случаях вынужден исполнять свой долг.

Ребус (она примостилась на краешке письменного стола и ее чулок со спущенными петлями торчал в считанных сантиметрах от лица миссис Плашков) слезла и начала мерить лабораторию шагами, сцепив руки за спиной. Человек наблюдал за ней, и каждая замеченная подробность способствовала его духовному росту. На лацкане жакета у Ребус красовались три больших жирных развода, а сзади на подоле — застарелое зеленоватое пятно неизвестного происхождения. Очки до того засалились, что стали почти непрозрачны, немилосердно завитые волосы были стянуты скрепками для бумаг и резиночкой от жестянки с табаком. В углу рта неизменно торчала сигарета (или, как ее называла Ребус, гвоздик), отчего Ребус вечно задыхалась и кашляла. От сигаретного дыма у нее слезились глаза, а пепел и искры щедро сыпались на вазы с цветами, серебряные ножички для разрезания бумаги, чехлы миниатюрных вычислительных устройств и прочие дары цивилизации, которыми человек украсил свою лабораторию.

— Я хочу сказать, — Ребус откашлялась, — что вам ведь известна моя точка зрения. Все это мероприятие с начала до конца, я считаю, сплошное дерьмо собачье.

Эти слова вызвали у человека улыбку. «Видно, — подумала миссис Плашков, — Ребус совершенно нечувствительна к кулуарной обработке. Видно, даже малейшая попытка

обработать ее диктуется эгоистическими соображениями: человек использует Ребус как ступеньку, чтобы возвыситься в собственных глазах». Миссис Плашков придавала немалое значение кулуарной обработке. На чашке чая в ее лаборатории один за другим перебивали все начальники отделов — она выпытывала у них новости, заручалась поддержкой такого-то против такого-то, организовывала давление на определенных лиц, чтобы устранить давление их соперников. Постоянно читая соответствующую литературу, человек знал, что именно так делается в верхах любого академического учреждения.

— Еще чашку чаю, — предложила она, сняв небольшой чайник со спиртовки у себя на столе и вновь залив кипятком серебряный заварочный чайничек. Ребус сграбастала хрупкую фарфоровую чашку и протянула ее человеку; при этом она засопела и несколько крупных хлопьев пепла плавно опустились в молочник со сливками.

— И еще, — прохрипела она. — Чай. Комиссия постановила угостить королеву чашкой чаю. Я твердо знаю — сама голосовала. А теперь, говорят, мы устраиваем целый передвижной буфет.

Миссис Плашков едва уловимо вздохнула. Когда ее попросили подготовить все к королевскому визиту, ей в помощь придали организационный комитет, куда вошли все начальники отделов. Наличие комитета, само собой, сильно осложнило ее работу. Человек знает, что такое комитеты; человек не допустит, чтобы дело попало в поле зрения расширенного комитета, прежде чем его полностью наладят и утрясут за кулисами. Если комитет из формального органа для утверждения заранее принятых решений превратится в дискуссионный клуб, возможны самые отвратительные сцены. Люди выходят из себя, торгуются, кричат, занимают крайние позиции, вспоминают такое, чего никогда не надо вспоминать на публике, и выставляют себя напоказ в самом неприглядном свете. Потому она и принялась за терпеливую кулуарную обработку.

И тем не менее человеку волей-неволей придется пожалеть, что комитет вообще существует. Рано или поздно надо будет выносить письменные резолюции, и как их тщательно ни формулируй, стараясь уберечь человека от неудачных шагов, в них обязательно найдется богатый материал для кривотолков, если кривотолки кому-нибудь выгодны. У Ребус и прочих есть привычка трактовать резолюции комитета с вопиюще примитивным буквализмом. В частности, Ребус, по всей видимости, полагают, что если комитет высказался в пользу неофициальной рукопожатий, то, значит, сотрудники должны стоять, засунув руки в карманы, и приветствовать королеву небрежным кивком головы! А если комитет постановил угостить королеву чаем, то некоторые, по-видимому, поняли это буквально вручим, мол, королеве пластмассовую столовскую чашку с остывшим столовским чаем!

— Милая Ребус, — с нескончаемым терпением сказала миссис Плашков, — если комитет упомянул о неофициальной обстановке, человек может быть совершенно уверен, что при этом никто не имел в виду откровенную грубость.

— Послушайте, дружище, о грубости никто и не заикался...

— Точно так же, милая Ребус, если комитет постановил угостить королеву чаем, то, я думаю, человек может быть вполне уверен, что при этом не исключается бисквит или кусочек торта.

— Или кусочек копченой лососины? Или сэндвич с икрой?

— Возможно. Точный ассортимент закусок еще не установлен.

— Чего доброго, будет и жареный павлин и фаршированная медвежья голова?

— Навряд ли продовольственный комитет сочтет нужным возиться с такими сложными блюдами.

— Ага, значит, есть уже и продовольственный комитет, вот как? А заодно и подкомитет

закусок? Послушайте, дружище, эта история уходит из-под нашего контроля.

На какое-то мгновение улыбка миссис Плашков исчезла. Ребус коснулась больного места. Самое досадное, что человек сам начинает разукрупнение комитетов. Во избежание непристойных выходов со стороны Ребус в организационном комитете миссис Плашков переадресовала все вопросы, способные их спровоцировать — то есть вообще все вопросы, — в особые подкомитеты, куда Ребус не вошла. Конечно, проделано это было тонко, чтобы не возбуждать подозрений у потенциальных союзников Ребус — Голдвассера, Мак-Интоша, Роу и других, — так что в качестве дымовой завесы пришлось учредить несколько лишних подкомитетов, куда Ребус вошла. Их обезвредили тем, что подчинили Объединенному консультативному совету, где Ребус не значилась. Ловким маневром Ребус проникла в протокольный комитет, координирующий работу тех подкомитетов, куда сама она не входила. Миссис Плашков ответила созданием координационного комитета без Ребус, координирующего работу Объединенного консультативного совета и протокольного комитета, а потом координационный комитет сформировал рабочие комиссии для изучения материальной стороны предложений, выдвинутых различными подкомитетами.

Сперва миссис Плашков считала, что такая сложная структура сама по себе чего-то стоит, ибо повышает вероятность того, что только человек умеет все понимать и, следовательно, контролировать. Но на каком-то этапе случилась любопытная вещь. Организация достигла критической массы. Когда общее число комитетов, подкомитетов и рабочих комиссий дошло до двадцати трех, началось самопроизвольное деление клеток. Вчера, допустим, было двадцать три организационных единицы и по каждой из них человек мог отчитаться, а сегодня их уже двадцать четыре. Миссис Плашков обнаружила, что распространяются протоколы заседаний какого-то органа, именуемого центральной комиссией связи — о такой комиссии человек и слыхом не слыхал, туда не входила ни Ребус, ни даже она сама. А на завтра комитетов стало двадцать шесть! Гидра ожила!

— Пусть будет так, — миссис Плашков позволила себе легкий намек на укоризну по отношению к Ребус — ложечкой выудила часть пепла из молочника. — Надо предоставить продовольственные вопросы продовольственному подкомитету. По-настоящему, надо обсудить совсем другой вопрос (насколько я понимаю, у вас в протокольном комитете его завтра выносят на повестку дня) — это отчет протокольного комитета о загородке для прессы.

— О чем? — каркнула Ребус.

Миссис Плашков сострадательно улыбнулась.

— О загородке для корреспондентов, освещающих этот визит в печати, — сказала она.

— То есть как для корреспондентов, освещающих этот визит в печати?

— В дворцовом отделе прессы выдадут пропуска нескольким репортерам и фотографам. Это делается по системе строгой очередности совершенно независимо от нашей воли.

— А при чем тут загородка?

— Насколько я понимаю, протокольный комитет учитывает, что, если представители прессы получают свободный доступ к спиртному, придется принять кое-какие меры предосторожности.

— Минуточку, дружище. Что там насчет спиртного?

— Протокольный комитет считает — и нельзя с этим не согласиться, — что представителей прессы надо угостить спиртными напитками. По-видимому, так принято в подобных случаях.

— А почему бы не чаем, как всех остальных?

— По-видимому, они не пьют чая. В общем есть предложение отделить представителей прессы от королевской свиты либо красными плюшевыми шнурами с медной арматурой, либо

плотной стенкой из комнатных растений. Не захотим же мы, чтобы какой-нибудь пьяный репортериска перегнулся через барьер и попытался облапить королеву. Опять-таки вряд ли можно пренебречь вероятностью, что кто-нибудь станет швыряться различными предметами. По мнению протокольного комитета, искушение швыряться различными предметами значительно ослабнет, если представители прессы не будут видеть, в кого целиться.

Ребус задыхнулась от дыма и ярости.

— А я — то думала, ожидается неофициальный визит, — выдавила она.

— Ну, знаете, нельзя же доводить понятие «неофициальный» до такой крайности, когда по королеве открывают стрельбу сэндвичами и пустыми бутылками из-под горячительного.

Ребус шумно поставила чашку и втянула в себя воздух, чтобы прокричать: «Костями лягу, но не допущу», а потом надменно выплыть из комнаты. Но от холодного воздуха у нее запершило в горле, воспаленном от дыма, и начался длительный приступ кашля, к концу которого выгодный для декларации момент был упущен.

Тем не менее она-таки легла костями и конце концов восторжествовала почти во всех комитетах, имеющих хоть какое-то отношение к делу. По ее мнению, которое разделяли Голдвассер, Мак-Интош и Роу, то была славная победа сил разума.

Но все же подрядчики получили заказ на красные плюшевые шнуры и плотную стенку из комнатных растений. Ибо за претворение рекомендаций всевозможных комитетов в жизнь отвечала не кто иная, как мисс Фрам, секретарша Нунна, а она не слишком обращала внимание на то, что там толкуют в комитетах. Каждый знает, как невелик в таких случаях прок от комитетов. А мисс Фрам считала, что, хоть визит ожидается неофициальный, не стоит доводить понятие «неофициальный» до такой крайности, когда по королеве открывают стрельбу сэндвичами и пустыми бутылками из-под горячительного.

— Да, — глубокомысленно произнес Роу, — да.

«Пусть я не такой умный, как Мак-Интош, — думал он, — и в беседу с Мак-Интошем внесу немного, но зато уж что внесу, то внесу лишь после усердного и добросовестного размышления». Глядя на Мак-Интоша поверх пустых кофейных чашек в институтской столовой, он прикидывал, достаточно ли уже сказал для того, чтобы Мак-Интош по заслугам оценил напряженную работу его мысли.

— Да, — произнес он опять, будто вытянутые из него слова были единственными уцелевшими участниками кровопролитной гражданской войны, идущей в его мозгу. — Да.

— Люблю пофилософствовать, — сказал Мак-Интош. — Вы ведь знаете, я люблю призадуматься над впечатляющим величием наших трудов, над их печальной судьбой и масштабами.

— Да, — произнес Роу.

— Взять хоть ваш отдел, Роу. Вот вы разрабатываете программу, которая позволит руководить игрой в бинго по всей стране с одной центральной вычислительной машиной. Ну, это-то самоочевидно и неизбежно. Нет ничего особенно новаторского в том, чтобы перепоручить вычислительной машине чисто механический процесс выработки и коррелирования случайных факторов.

— Конечно нет.

— Затем вы начнете работу над программой автоматизации футбола. Это тоже неизбежно. Профессиональный футбол становится все более нерентабельным, а тотализаторы должны как-то сводить концы с концами. Даже самый тупой, самый мелкий бизнесмен сразу поймет, что платить двадцати двум мужчинам только за случайный выбор между выигрышем, проигрышем и ничьей это экономическое безумство. Стоит вам освоить футбол — и люди очень быстро поймут, что все стадионы страны можно заменить простейшей и недорогой вычислительной машиной. И конечно, крикет. Когда выручка упадет достаточно низко, чтобы людям стало не до сантиментов, каждый заметит, что вычислительная машина куда лучше, чем крикетная команда, приспособлена к условиям игры с множеством переменных — тут и влажность земли и освещение, и износ поверхности мяча, и ошибки стража, и так далее. В сущности, вычислительная машина способна выдать груды всевозможного статистического материала, порождаемого спортом, и сделает это не только экономичнее, но и по более содержательным схемам и с более яркими флуктуациями. Насколько я понимаю, главная цель организованного спорта и спортивных игр — создать избыточный статистический материал?

— О да, — произнес Роу. — Насколько мне известно.

— Других задач никто не ставил, правда?

— По-моему, нет.

— Конечно, нет. Но прежде чем строить какие-то теории, надо уточнить основные допущения. А если так, то мы можем утверждать, что вычислительная машина — более эффективный источник статистического материала, чем любые мыслимые комбинации лошадей, собак и мускулистых юношей. Но это еще не все. Ибо что мы доказали? Что всякое человеческое действие, состоящее в повторении, или в оперировании переменными в соответствии с заранее заданными правилами, или в произвольном оперировании известным числом переменных, может быть смоделировано (по крайней мере теоретически) вычислительной машиной.

— Да, произнес Роу, — это действительно основной, э-э, основной...

— ...Принцип, на котором зиждется наша работа. Это верно. Итак, мы автоматизируем бинго. Теперь рассмотрим действия человека, играющего в бинго. Разве его действия — закрывание номеров на доске по мере того, как их выкликают, и сигнализация о том, что ряд закончен, — не автоматичны в самой своей сути? Уж его-то работу наверняка выполнит вычислительная машина, да еще при самой простой программе?

— Да, — произнес Роу. — Да, выполнит.

— Безусловно. Никто не станет убивать время в бинго-зале, если можно просто внести деньги и передоверить игру машине. Заполнение футбольной таблицы — еще одна работа, на которую легко запрограммировать вычислительную машину. Можно задать ей случайное заполнение таблицы или выбор на основе какой угодно программы, или разработку собственной программы, или выбор между случайным отбором и собственной программой. Тут мы снова имеем дело с переменными, которые можно установить заранее, которыми можно оперировать по известным правилам. Все это поддается программированию. Если этим занят человек, он впустую теряет время.

— Да-а-а-а, — произнес Роу. — Да-а-а-а.

— Если подумать, то можно ведь запрограммировать вычислительную машину так, чтобы она оценивала за вас и результаты крикета... Или даже оценивала настоящую автоматизированную игру, которую ведет игровая вычислительная машина. Ее даже научат регистрировать аплодисменты при особенно ярких флуктуациях — например при объявлении, что игрок берет трудный мяч, стоя против солнца. Она будет регистрировать досаду, когда команда, с которой ей велено отождествиться, терпит неудачу, досаду, смешанную с невольным восхищением, если это произошло в результате искусной игры противника. Она будет регистрировать скуку, если долгое время не случится ничего из ряда вон выходящего... Однако на живых людях эта скука не отразится.

— Но ведь на крикет ходят для того, чтобы увидеть и оценить искусство игроков!

— Тогда почему же столько людей довольствуются тем, что слушают репортаж по радио? Действия зрителя и радиослушателя одинаковы: выбор реакций в зависимости от перестановок из предложенных переменных. Насколько я понимаю, действия эти носят конечный характер и, следовательно, программируются. Зритель великолепнейшим образом взаимозаменяем.

— Но, — произнес Роу, — зритель получает удовольствие от зрелища.

— Охотно верю, но это к делу не относится. Оператор гидравлического пресса, замененный вычислительной машиной при автоматизации завода возможно, получал удовольствие от управления прессом. Но, несмотря на это, его все же заменили. Человеческая личность, дорогой мой Роу, прибор слишком ценный и сложный, чтобы растрачивать его на простые конечные задачи вроде управления прессами, заполнения стадионов присутствия на состязаниях по футболу и крикету. Я глубоко верю, что весь мир спорта со временем станет абсолютно замкнутым, доступ к нему прекратится для всех, кроме инженеров-эксплуатационников. Играть будут вычислительные машины. Следить за игрой будут вычислительные машины. Комментировать игру будут вычислительные машины. Записывать результат будут вычислительные машины, и они же будут состязаться в памяти с другими вычислительными машинами во время телевизионных спортивных викторин, где машины — и организаторы, и участники, и зрители.

— Да-а-а-а, — произнес Роу.

— Собственно, это ведь ваша область. Надо полагать, у вас все это уже продумано.

— Да, знаете...

— Дел впереди по горло, Роу. Меня-то по рукам и ногам связывает самаритянская программа, но будь у меня время перебраться в новый корпус, я бы взял на себя часть той

работы, что ведут Ребус и Плашков в политическом и международном отделах. Если бы дипломатией и партийной политикой руководили вычислительные машины, Роу, сильно уменьшилась бы опасность отхода от старых добрых предвзятых идей ради грубой действительности. Вот каким мне бы хотелось видеть наше политическое руководство, потому что я и сам по природе такой. Мне свойственна странная тенденция к мономании, Роу, подсознательное стремление автоматизироваться.

— Ясно.

— Опять-таки хотелось бы мне основать отдел церемоний. Эх, будь у меня время! Да мы бы сами взялись за все, от командования парадом королевской гвардии и составления списков награжденных до торжественного открытия нового корпуса. Сколько бы мы сэкономили денег, времени и рабочей силы! А невыразимый гнет усталости, от которого мы избавили бы людей! Да вообще, будь у меня только время перебраться в новый корпус, нет счета процессам, которые я мог бы запрограммировать. Один из моих любимых замыслов — программа по устранению посредников из сферы распределения: нужно только скалькулировать среднюю прибыль торговцев, и мы прекрасно обойдемся без них самих. А делился я с вами идеей запрограммировать машину на сочинение порнографических романов? Ведь все авторы используют перестановки из крайне ограниченного числа конечных переменных — это под силу самой простой машине. Или справочники по вопросам секса базовых величин там еще меньше, а перестановками рынок явно не насыщен. Но лично я, пожалуй, предпочитаю порнографию. Есть в ней откровенное величие логики, которое меня трогает... И кое-что другое, разумеется.

— Да, — произнес Роу.

Мак-Интош давно замолчал, а мозг Роу все еще продолжал бороздить океаны недодуманных дум. То был взбудораженный, кипучий мир. Если бы только ему удалось занять выгодную позицию и хоть на секунду спокойно охватить взглядом этот мир, Роу набросал бы его словесную карту. Карту территорий гораздо более обширных, чем те, что исследовал Мак-Интош, — их фантастические очертания уже вырисовывались перед его внутренним взором. Если бы только..... Если бы...

— Да, — произнес он. — Да.

Сэр Прествик Ныттинг был не мастер говорить по телефону. И не таких, как он, этот аппарат ставил в дурацкое положение. Разве узнаешь, принадлежит ли голос тому, кем он назвался, представляет ли собой то, чем кажется, кажется ли тем, что собой представляет, и правда ли то, что говорит собеседник?

— Нунн? Алло, это Нунн? — вопрошал он опасливо.

Он боялся, что Нунн болеет или вообще умер, и его, Ныттинга, просто разыгрывают.

— Нунн! Это вы Нунн? — повторил он свирепо. Внезапно его одолел панический страх. Есть Нунн на другом конце провода или его там нет? А вдруг он действительно умер? Сэру Прествику мерещились бесчисленные стайки телефонисток: они подслушивают по всем каналам коммутатора и изнемогают от сдавленного хохота, оттого что заставили сэра Прествика кричать на Нунна, тогда как Нунн лежит мертвый в открытом гробу на собственном столе.

— Нунн! — воскликнул он удрученно. — Нунн!

— Здравствуйте, сэр Прествик, — сказал Нунн, которому пришлось на время отойти от вешалки, где он отбивал довольно трудный мяч.

— Это вы, Нунн?

— У телефона, сэр Прествик.

— Ага. Я все пытаюсь до вас добраться, Нунн. Так вот, Нунн..... Алло! Нунн! Нунн! Нунн, вы меня слушаете или нет?

Нунн не сводил глаз с мяча, который успел долететь до середины ковра; теперь мяч чудом обогнул ножку стола и мимо корзины для бумаг, под аплодисменты ценителей, ушел за пределы поля к батарее, подарив команде лишние четыре очка.

— Извините, сэр Прествик. У нас сегодня горячий денек. Выкладывайте.

— Понятно. Так вот, Нунн...

— Видели вы скачки с препятствиями, которые ваш конкурент показывал вчера по телевидению?

— Нет. Так вот, Нунн...

— Были довольно занятные курбеты. Извините, я вас перебил.

— Да собственно...

— Отвлекся. Признак старости.

— Ага. Так вот, всплыло...

— Непростительная грубость. Сам ненавижу, когда меня перебивают.

— Так вот, всплыло серьезнейшее непредвиденное обстоятельство.

— Так.

— Ваши планы относительно нового корпуса. Боюсь, что Ротемир их не потерпит.

— Да неужто?

— У Ротемира создалось впечатление — и вот тут передо мной соответствующее письмо от вашей мисс Фрам, — что корпус предназначен (я цитирую) «...для увеличения объема работ отдела этики по исследованию вопроса о том, в какой степени возможно запрограммировать вычислительные машины на соблюдение кодекса этики».

— Все правильно.

— Мы ведь взялись поддерживать эту работу в убеждении, что она содействует борьбе с детской преступностью и распущенностью. Именно таков для нас смысл слова «этика».

— Именно таков он и для меня, сэр Прествик.

— Вот Ротемир отказывается понять — да и я отказываюсь, — чем же тогда оправдывается использование корпуса под вычислительные машины, сочиняющие порнографические романы и справочники по вопросам секса.

— Порнографические романы и справочники по вопросам секса?

— Именно.

— И у нас будут подобные машины?

— Так мне сообщили.

— В новом корпусе?

— По-видимому. Ротемир узнал об этом на званом вечере от какой-то девушки.

— Вы уверены, что она в курсе того, что здесь происходит?

— Кажется, она узнала это от какого-то мужчины, а тот сказал, что об этом толкуют по всему институту.

— Понятно. Что ж, займусь выяснением.

— Поймите меня правильно, мне бы не хотелось, чтобы вы думали, будто мы хотим как-то влиять на работу, проводимую в новом корпусе, только потому, что вложили в него деньги.

— Ни в коем случае.

— Самое немыслимое предположение. Ротемиру в голову не придет ничего подобного.

— Конечно, нет.

— Просто мы должны соблюдать осторожность в вопросах, с которыми связана честь фирмы.

— Именно. Именно. Я, конечно, никогда не вмешиваюсь в работу отделов, вы и сами, без сомнения, понимаете.

— Ну конечно.

— Но я, безусловно, решительно пресеку всякую чепуху насчет порнографических романов и справочников по сексу.

— Я же говорил Ротемиру, что на вас можно положиться.

— Буду только рад помочь.

— Мы ничего не имеем против вас лично, Нунн.

— Не сомневаюсь.

— Но насчет этого Ротемир пилит меня все утро. Надеюсь, я не был слишком резок?

— Вы были вполне в своем праве. Вполне в своем праве.

— Поймите, Ротемир — ярый противник таких вещей. И, откровенно говоря, после такого утра мой живот дает себя знать.

— Предоставьте все мне. Я немедленно переговорю с макинтошем.

— Надо полагать, Мак-Интош спит и видит во сне новый корпус?

— Да, это уж на все сто.

— Вот как? А у меня, когда я с ним беседовал, невольно сложилось впечатление, что он относится к корпусу прохладно.

— Нет-нет, наоборот, весь так и горит.

— Поймите, он же твердил, что новый корпус ему не нужен и он не желает иметь с ним ничего общего.

— Да это у него просто такая манера разговора. Станный народ эти ученые лбы.

— Похоже на то.

— Удивляют меня на каждом шагу.

— Точно.

— Ну вот видите.

— Значит вы возьметесь за Мак-Интоша?

- Я возьмусь за Мак-Интоша.
- Ну, тогда ладно.
- Спасибо, что известили.
- Нет, это вам спасибо.
- Возьмусь за Мак-Интоша безотлагательно.
- Возьмитесь за него, пожалуйста.
- Безотлагательно.
- Значит, договорились.
- По-моему, обо всем.
- По-моему, тоже.
- Ну тогда...
- Главное, возьмитесь за Мак-Интоша.
- Возьмусь, возьмусь.
- Мне кажется, в нем все дело.
- Мне тоже так кажется.
- Если дело в чем-то другом, мы ведь всегда можем снова созвониться.
- Конечно.
- Ну, тогда, значит, привет супруге.

«Хью Роу, — отпечатал Хью Роу, — подарил нам свой блистательный первый роман. Интимный, искрометный, интеллектуальный. «Р» от первой до последней страницы читается с неослабевающим интересом. Без тени колебания могу провозгласить этот роман лучшей книгой года».

В лабораторию вошел Голдвассер.

— Опять увидел из своего окна, что вы работаете. Не устоял против искушения зайти посмотреть на вас вблизи.

— А-а, — произнес Роу.

«Р», — отпечатал он, — открывает собой новую знаменательную эру в развитии романа как формы искусства».

— Это все, надо понимать, ваш роман? — спросил Голдвассер.

— Да, — произнес Роу.

Он отпечатал: «Успех! Успех! Бесспорный успех!»

— А что за роман? — спросил Голдвассер.

«Динамический, добротный», — отпечатал Роу. И произнес:

— Да знаете, роман как роман.

— А-а.

«Беру на себя смелость призвать всех и каждого при первом же случае ознакомиться с этим поистине выдающимся произведением».

— Можно мне его прочесть? — спросил Голдвассер.

— Прочесть? Да он, собственно, еще не совсем готов... В общем, когда закончу, пожалуйста...

Но Голдвассер уже заглянул через плечо Роу.

— Понятно, — сказал он секундой позже. — Господи, Роу, приношу тысячу извинений! Я просто не представлял... С моей стороны это непростительно.

— Все дело в том, — произнес Роу, — что я решил начать с рецензий...

— Начать? Вы хотите сказать, что роман еще даже не написан?

— Да. Понимаете, Голдвассер, я подумал, что лучше начать с рецензий, а уж по ним как бы воссоздать роман.

— Ясно.

— Ведь писатели работают по-разному.

— Да.

— Вы находите, что начинать с этого конца нецелесообразно?

— Нет, отчего же.

— Понимаете, иногда я и сам призадумываюсь.

— Неужели?

— О да. Ведь когда пишешь, чувствуешь себя чертовски одиноким. Порой даже начинаешь бояться, что у тебя уже ум за разум зашел.

Некоторое время Голдвассер размышлял.

— Роу, — сказал он. — А сюжет для романа у вас есть? Или персонажи?

Роу молча глазел на пишущую машинку. «Молниеносно, мучительно и мудро, — подумал он. Беспощадная пронизательность и сокрушительная точность. Смотрит в самый корень».

— Как раз нащупываю, — произнес он.

— Понятно. А есть у вас другие — как бы это выразиться? — отправные точки?

— Ну... — произнес Роу.

Он знал, что хочет написать, но рассказать об этом не мог. Написать, вообще говоря, тоже. Ни рассказать, ни написать он не мог, так как образы, которые ему хотелось перенести на бумагу, были томны и мимолетны как сновидения. Чем больше тщишься описать сон, тем дальше он от тебя ускользает, отступает перед словесной атакой, будто остывает, будто бледнеет, и наконец, когда ты уже, казалось бы облек в слова, в памяти не остается никаких следов того, что тебе снилось. Роу хотел перенести на бумагу картины, которые возникали у него в голове неожиданно, когда мозг был разгорячен и на мгновение охватывал, казалось, всю сладость жизни. Вот, например, картина: пронизывающий мартовский ветер расцветивает воду солнечными бликами в устье судоходной реки. Или вот: усталые наивные глаза отмечают первый серый проблеск летней зари на тополях и медных буках в уборе листьев, на каменных балюстрадах и газонах, белых от росы. Или такая картина: ноябрьским вечером сквозь туман идет Роу, и пар от его дыхания туманом прорезает желтую дымку в круге света от уличного фонаря, и он слышит тарахтенье мотоцикла: «Трах-тах-тах-тах-тах». Но как описать все это, чтобы сохранился хоть малейший аромат этих бесценных, уникальных картин, Роу понятия не имел.

— Значит, нет? — сказал Голдвассер.

— Только в самых общих чертах.

— Вы не хотите выпятить какую-нибудь идею? Ну, например, показать, как власть растлевает людей или желания опустошают душу? Не хотите разоблачить мещанские нравы провинциальных университетов или чрезмерно крутую учебную политику Оксфорда или Кембриджа?

— В общем-то, наверное, нет.

— Что ж, тогда начнем с персонажей и сюжета. Прежде всего нужен герой. Допустим, его зовут Онн. Теперь, насколько я понимаю, у Онна любовная связь.

— С Онной?

— Слишком прозрачно. Как насчет Мои — сокращенно от Мойры? Ну вот, уже кое-что. Моя, конечно, замужем за тупым издателем по фамилии Хоуард. Их брак уже давно превратился в чистую фикцию. И вот Онн — пылкий молодой писатель, бунтующий против затхлых условностей, — уговаривает мою бежать с ним и вместе строить новую жизнь.

— Прекрасно, Голдвассер!

— Мы ведь только-только начали. Теперь так: у Хоуарда есть любовница, по имени Лизбет. Лизбет знакомится с Моей, и в обеих женщинах вспыхивает странное влечение друг к другу. Исполненная чудовищного предчувствия собственной неполноценности, моя пытается порвать с Онном и затевает нарочито грязную, низкопробную интрижку с пьянчужой и пижоном Лио сводным братом Лизбет. В отчаянной попытке утешится после утраты мои, Онн спит с Лизбет, но вот Лизбет ему признается, что когда-то была в связи с Лио, и Онн, захлестнутый глубочайшим отвращением к жизни, вдруг допускает, чтобы Хоуард его соблазнил.

— Голдвассер, это же большая литература!^[1]

— Я еще не кончил. Онн, ясное дело, не знает главного: Хоуард таким образом мстит Лио за его интрижку с Моей.

— Я, кажется, не совсем уловил.

— Да ведь Хоуарда, само собой, связывают с Лио многолетние узы. Это у Лио единственное светлое пятно в жизни, и когда он узнает, что Хоуард обманывает его с Онном, то ударяется в длительный загул, который его убивает. Узнав о смерти Лио, Лизбет кончает с собой. Онн чувствует моральную ответственность за смерть Лизбет и сходит с ума. Поскольку обоим некуда больше кинуться, Хоуард и моя возобновляют совместную жизнь, чтобы до самой

могилы мучить друг друга взаимными упреками и покаяниями.

— Вот это, действительно, сюжет, Голдвассер!

— Во всяком случае, без подготовки я не могу высосать из пальца ничего лучшего.

— По-моему, вышло потрясающе.

— Стоит вам немножко поработать, и сюжет станет достаточно запутанным.

Роу призадумался.

— Голдвассер, а вам не кажется, что в романе слишком много секса?

— С чего бы? Все романы только об этом и толкуют.

— Да, пожалуй.

— Пока еще ничего другого не придумали, так ведь?

— Пожалуй, нет. Знаете, для меня это совсем новая отправная точка.

— Не представляю, о чем же вы собирались писать роман, если не о сексуальных отношениях.

— Да было у меня что-то вроде идеи. Трудно объяснить, но в общем о том, как человек идет по улице. В тумане.

— А дальше?

— Он выдыхает туман.

— Выдыхает?

— Потом слышит треск мотоцикла.

— Ну а дальше?

— Не знаю. По-настоящему я еще, конечно, не все продумал.

Голдвассер потер щеку.

— Это вы можете обыграть, — сказал он. — Я так думаю.

— Например, Онн идет по улице сквозь туман, направляясь от Мои к Лизбет?

— Или от Лизбет к Хоуарду.

— Пожалуй.

— Почти в любом месте можете обыграть.

— Да-а-а-а.

— Ну не буду вам мешать.

После ухода Голдвассера Роу вставил в машинку чистый лист бумаги. Он всегда знал, что рано или поздно ему придется столкнуться с требованиями, предъявляемыми к роману, но воображал, что будет от них отмахиваться хотя бы до тех пор, пока не напишет развернутой критической статьи для «Энкаунтера»^[2].

«Хью Роу, — безрадостно отбивали сами собой его пальцы, — вопреки ожиданиям некоторых литературоведов не создал абсолютно самобытного шедевра. Однако «Клубок червей» — зрелое профессиональное произведение, его сила — в действенном реализме замысла, оно смело смотрит в лицо жизни, такой, какова она в современном романе...»

— А-а! Добрый день, Мак-Интош, — сказал Нунн. — Хорошо, что вы заглянули. Присаживайтесь. Правильно, скиньте свои мокроступы. Вы курите? Нет? Похвально, похвально.

Рука Нунна неприметно занесла в «Универсальный справочник рыболова»: «Мак, оч. настор.». Разумеется, надо создать ему непринужденную обстановку, а потом уж приступить к допросу. Не в первой.

— Как насчет рыбки? — спросил он любезно.

— Чего? — не понял Мак-Интош.

— Рыбки.

— Э-э, не сейчас, благодарю.

— Не сейчас?

— Я только что поел.

— Ага.

Рука Нунна снова потянулась к справочнику. «Мак. оч. уклончив», пометил он.

— Я только хотел сказать, — пояснил он, — что сегодня для нее день подходящий.

— Подходящий день для рыбки?

— Да, сегодня ведь сыро.

— Вот как. А я — то думал, что для рыбки самый подходящий день — пятница.

— Пятнами? Нет-нет, сплошная сырость.

— Понятно.

«Может, они и гениальны, эти ученые типы, — подумал Нунн, — но простое человеческое общение с ними практически невозможно».

— А теперь вот что, Мак-Интош, — сказал он вслух. — Будем говорить начистоту. Вы ведь знаете, я никогда не вмешиваюсь во внутреннюю жизнь отделов. Да и не мог бы вмешиваться при всем желании. Я то сам не кибернетик и, конечно, в вашей работе ни бум-бум.

— Да.

— И конечно, мы с директором, доверяем вам целиком и полностью. Целиком и полностью.

— Так.

— Но дело-то вот в чем, Мак-Интош, — буду предельно откровенен. Сегодня с утра я имел беседу с сэром Прествиком Ныттингом. Вы его знаете?

— Встречал.

— Конечно встречали. В общем, он говорил о том, какое безмерное уважение питает Ротемир Пошлак к академическим свободам института.

— Неужели?

— Да. По-видимому, он всячески стремится, чтобы новый корпус был во всех отношениях независим. Ему не хочется, чтобы мы считали, будто только из-за того, что он вложил деньги, он желает как-то влиять на проводимую нами работу.

— Приятно слышать.

— Мне думается, что вас как начальника отдела это должно особенно устраивать. Но, конечно, это перекладывает на нас всю ответственность, подача теперь наша. Чем большую свободу предоставляет нам Пошлак, тем тщательнее мы должны следить за тем, чтобы ею не злоупотребляли. Уверен, что вы меня понимаете.

— Да.

— Конечно, при нормальном ходе событий все это не имело бы такого значения. Но,

поскольку на открытие придёт королева, институт окажется в центре общественного внимания. Так что академическая свобода академической свободой, а надо принять все мыслимые меры, чтобы не посадить в лужу наших друзей из Объединенной телестудии. Я надеюсь, ясно выразился?

— Дело ясное, что дело темное.

— Вот и расчудесно. Умный поймет с полуслова, да? Так я и знал, что вы уловите суть.

— Что?

— Это я к тому, что люди мелют всякую чушь про ученых мол, с ними трудно столкнуться. А я говорю: порядочный человек — всегда порядочный человек, кто бы он ни был, даже негритянский певец или ученый.

— Понятно.

— Не сомневаюсь. Поймите, я бы и не заикался, но только вы же знаете, какое значение придают общественному мнению телевизионные компании. И вот, когда я услышал, что вы там затеваете в новом корпусе...

— Затеваю?

— Да я же знаю наверняка, что все делается в чисто научных целях.

— В новом корпусе я ничего не затеваю.

— Да, но, строго говоря...

— Только так.

— Ну да, понял вас. Вы хотите сказать, что совсем ничего не затевали?

— Я вам все время объясняю: в новом корпусе я равным счетом ничего не делаю.

— Вот я и старался убедить в этом сэра Прествика.

— Хорошо.

— Поймите, я так ему и сказал. «Слушайте, — говорю, не знаю откуда вы взяли, но уверяю вас, что в новом корпусе Мак-Интош равным счетом ничего не затевает».

— Поймите, я...

«Я знаю Мак-Интоша как облупленного, — говорю, — и могу сказать, что он вовсе не такой человек».

— Поймите, я же неоднократно объяснял...

— Да ведь именно это я и говорил Прествику. «Это все чушь собачья, — говорю, — можете совершенно спокойно пойти к тому, кто это выдумал, и передать ему мои слова».

— Да...

— Поймите, сэр Прествик славный мальчик и все такое, но иногда я задумываюсь, есть ли у него свое мнение. Уж очень он внушаем. Вечно поддакивает обеим сторонам. Так ведь нельзя.

— Да.

— Вот видите. Я с самого начала знал, что до сэра Прествика все дошло в искаженном виде. Спасибо, что помогли разобраться.

Когда Мак-Интош собрался уходить, Нунн пометил у себя в справочнике: «Мак. оч. сговорчив».

— Еще одно слово, — сказал он. — Строго между нами, конечно, но если ваш металлолом действительно станет выдавать клубничку, мне бы любопытно хоть одним глазком взглянуть.

Как-то Мак-Интош сказал Роу, что, даже если бы Голдвассер больше ничем не прославился, он бы прославился изобретением ПЯЗа.

ПЯЗ — праязык заголовков — был основан на обширном лексиконе включающем все сравнительно короткие слова универсального назначения, какие применяются авторами газетных заголовков. Открытие Голдвассера состояло в том, что любые первичные единицы — слова «мир», «дорог», «путь», «зов» и многие другие — можно расположить почти в любом сочетании, и они составят фразу, а если, расположенные в любом сочетании они составят фразу, то к ним легко будут примешиваться случайные факторы. Следовательно, вычислительной машине очень просто подбирать материалы для автоматизированной газеты: сначала слепить заголовок, пользуясь элементарным ПЯЗом, затем подобрать к нему заметку.

ПЯЗ, как быстро понял Голдвассер, идеально разрешал проблему ежедневной подачи материала в автоматизированную газету. Допустим, лотерейный барабан выбросил:

ЗОВ ДОРОГ

Если каждый день наудачу прибавлять к этому словосочетанию единицу, заголовки будут изменяться так:

СНОВА ЗОВ ДОРОГ

ЗОВ ДОРОГ ДУШИ

ЗОВ ДОРОГ ВДАЛЬ

И тому подобное. Или же единицы можно накапливать:

ЗОВ ДОРОГ ВДАЛЬ

СНОВА ЗОВ ДОРОГ ВЕДЕТ ВДАЛЬ

НЫНЧЕ СНОВА ЗОВ ДОРОГ ДУШИ ВЕДЕТ ВДАЛЬ

Или же единицы можно использовать по методу случайного отбора:

ТЕНЬ УТЕЧКИ ШУМА

УТЕЧКИ ШУМА ИСПЫТАНИЙ

ГОНКИ ИСПЫТАНИЙ ДОРОГ

Что еще важнее, от таких заголовков газета приобретает солидный вид; создается впечатление, будто она освещает важные события, и легко скрыть ее одержимость мировыми дрязгами, не расстраивая и не тревожа читателя. Голдвассер даже провел опрос 457 человек, которым предварительно показали заголовки

ПРОВАЛ ГОНКИ ДВИЖЕНИЯ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТВРАЩЕНИЯ

На вопрос, понятны ли им заголовки, 86,4% группы ответили положительно, но из их числа 97, 3% никак не могли объяснить, что же они там поняли. Иначе говоря, при помощи ПЯЗа вычислительная машина может выпускать газету, текст которой отродно привычен и в то же время успокоительно непостижим.

Порой Голдвассеру, как утраченный золотой век, вспоминалось то время, когда он изобрел ПЯЗ. Ноббс тогда еще не обрел ни командных высот старшего научного сотрудника, ни бороды, ни веры в нерушимое мужское братство. В те дни Голдвассера только-только назначили начальником отдела. Каждое утро он нетерпеливо мчался на работу, в спешке напялив на себя то, что попадет под руку. Ему ничего не стоило до ленча создать новый алгоритмический язык, весь перерыв провести в спорах с Мак-Интошем, за вторую половину дня придумать четыре новые категории, затем повести Мак-Интоша с его молодой женой в ресторан, оттуда в кино и после этого далеко за полночь играть с Мак-Интошем в шахматы. В те дни у него хватало уверенности, что он умнее Мак-Интоша. У него даже хватало уверенности, что и Мак-Интош считает его умнее. В те дни макинтош был у него старшим научным сотрудником.

Трудно усомниться в деградации мира, как вспомнишь, что на смену Мак-Интошу пришел Ноббс. Иногда Голдвассер лишь ценой невероятного усилия убеждал себя, что мир в общих чертах неизменен (как он привык считать), а Ноббс — потенциальный Мак-Интош для будущего потенциального Голдвассера. Нелегко это было. Когда Мак-Интоша повысили в должности и сделали начальником отдела этики, Голдвассер перестал растрачивать фантазию на четкие умозрительные абсолюты типа ТЕМ БОЛЕЕ ДОРОГ ПОРОЙ. Все больше и больше его рабочий день заполняли такие занятия, как обследование по катастрофам.

Обследование по катастрофам показало, что людям неинтересно читать об автомобильных катастрофах, если число жертв меньше десяти. С точки зрения обывателя автокатастрофа с десятком жертв не так интересна, как железнодорожная с одной жертвой, разве что первая отличается пикантными подробностями: например, десять жертв оказались пятью парами молодоженов, не доживших до первой брачной ночи, или пешеходов смял в лепешку мировой судья, возвращаясь с охотничьего бала. Ведь железнодорожная катастрофа всегда сенсация независимо от того, найдены среди обломков трогательные детские игрушки или нет. Котируется железнодорожная катастрофа в Континентальной Европе — при условии, что жертв не меньше пяти. Если катастрофа случилась в США, минимальное число необходимых жертв возрастает до двадцати.

Но по-настоящему обыватель упивается только авиакатастрофами.

Обычно максимум сенсации вызывали человек семьдесят мертвых при двадцати уцелевших (в том числе и детях), если их перед этим хотя бы сутки мотало в океане на надувных шлюпках. Читателям по душе, если при этом ввернешь сообщение о чьей-нибудь жене, даме средних лет, которая собиралась вылететь тем же рейсом, но в последнюю минуту передумала.

Целый месяц из-за обследования по катастрофам у Голдвассера была хандра. Но разве можно выпускать приличную автоматизированную газету, если не выяснены все подробности? Теперь хандра напозла сызнова, пока он формулировал вопросы для обследования по убийствам.

Проект получился такой:

О каких убийствах вы предпочитаете читать — где убитая: а) маленькая девочка; б) старая дама; в) беременная незамужняя женщина; г) проститутка; д) учительница воскресной школы?

Предпочитаете ли вы, чтобы подозреваемый в убийстве был: а) стилигой; б) уважаемым мужчиной средних лет; в) явным психопатом; г) мужем или любовником убитой; д) умственно отсталым?

Предпочитаете ли вы, чтобы труп убитой был обнаженным или в белье?

Предпочитаете ли вы, чтобы насилие над жертвой было совершено до или после смерти?

Предпочитаете ли вы, чтобы смерть наступила от: а) выстрела; б) удушья; в) удара ножом; г) побоев; д) избиения ногами; е) замерзания в беспомощном состоянии?

Предпочитаете ли вы, чтобы убийство произошло в обстановке: а) экзотической; б) зловещей; в) похожей на ваш дом и дом вашего соседа?

В случае «в» предпочитаете ли вы, чтобы дело показало, что под благопристойной поверхностью жизнь: а) так же безмятежна, какой кажется; б) представляет собой выгребную яму разврата и непотребства?

Ноббс пришел в восторг от проекта.

— «Предпочитаете ли вы, чтобы труп был обнаженным или в белье?» — повторил он Голдвассеру. — Вот это, брат, я называю хорошим вопросом. Вот это я называю хорошим вопросом.

Подавленный Ноббсом и своими вопросами, Голдвассер бросился искать утешения в новых тестах на IQ — их прислал какой-то приятель из Америки. Прекрасные были тесты, и ответы на них были прекрасны, и несколько часов кряду суровая действительность казалась Голдвассеру бесконечно далекой и не заслуживающей внимания. А результаты этого исследования выразились в виде кривой квартального графика, которая медленно, но верно ползла вверх.

Комитет безопасности, то есть Нунн, всюду занимался начальником политического отдела, доктором Ребус. Комитет, или, вернее, мисс Фрам, снял копии с протоколов всех других комитетов и подшил их в папку, по конспиративным соображениям озаглавленную «Спортивные рекорды». Когда Нунну удавалось выкроить время после сквоша и регби, он бессистемно перечитывал протоколы, выискивал уязвимые с точки зрения безопасности места. То, что он находил, укрепляло в нем инстинктивное недоверие к четырем начальникам отделов — макинтошу, Голдвассеру, Роу и Ребус. Трудно было попасть точно в яблочко, но тренированный глаз старого зубра контрразведки сразу приметил такое инакомыслие всей четверки, такую остаточную перманентную раздражительность, такое непреодолимое отвращение к общей идее шампанского, сверхмодных шляпок, церемонных рукопожатий и реверансов, исполняемых в бесформенных шелковых платьях. Нунн знал ихнего брата. И пусть он, как заправский спортсмен, склонен прощать человеческие слабости, все равно, его не может не насторожить, если люди, играя в регби, устраивают свалку вокруг мяча без малейшего энтузиазма. По тому, как игрок ведет себя в свалке вокруг мяча, можно довольно точно определить людской характер. Нунн ни разу не видел Мак-Интоша, Голдвассера, Роу или Ребус в подобной ситуации, но ведь по людскому характеру довольно точно предсказать, как люди поведут себя в свалке вокруг мяча.

Собственно, Нунн и не мог наблюдать Ребус на поле регби, поскольку она была женщиной. Но он добросовестно размышлял о ней, и чем дольше он о ней размышлял, тем больше убеждался, что из всей шайки она самая худшая. В протоколах ее имя все чаще и чаще появлялось в связи с мнением нежелательного меньшинства. То она выступала против рекомендации, чтобы маленькая дочка директора преподнесла королеве букет цветов. То она протестовала против того, чтобы взять напрокат красный ковер и брезентовый навес, декорировать ими центральный вход и тем самым предотвратить обязательное участие всего персонала в церемонном рукопожатии. Чем подробнее обговаривались приготовления к королевскому визиту, тем меньше считала она нужным держать свои возмутительные мнения при себе.

А взять хотя бы странную историю с затеянной ею петицией — все это было тоже документально зафиксировано в «Спортивных рекордах». Имелся текст самой петиции, адресованной директору, где выражались беспокойство и тревога по поводу приготовлений к визиту и Чиддингфолду напоминали о желании всего института обставить событие неофициально. Имелось конфиденциальная записка Нунну от миссис Плашков с вопросом, что он считает нужным предпринять в связи с петицией, и конфиденциальный ответ Нунна миссис Плашков с советом на данном этапе поддерживать движение протеста, но постараться вывести все на чистую воду. (Возмутительный совет. И вообще, что это за тип — Нунн? Быть может, он... Ах да, гм, конечно. Очень здорово.) Затем был перечень подписавшихся. Открывался он, естественно, подписями Ребус, Мак-Интоша, Голдвассера и Роу. За ними поставили свои автографы миссис Плашков и Нунн — надо полагать, после конфиденциального обмена мнениями. За ними Чиддингфолд. (Чиддингфолд! Разве не странно, что Чиддингфолд подписал петицию, адресованную ему самому? Надо полагать, это по-человечески трогательный знак недопонимания. А вдруг Чиддингфолд не снисходит до обыденщины настолько, чтобы прочитывать представленные ему на подпись бумаги? Вдруг он ничего не удостаивает прочтения? Вдруг он вообще не умеет читать?) Вслед за Чиддингфолдом петицию подписали все остальные, и ее вручили Чиддингфолду, а тот направил ее Нунну как заместителю

председателя главного комитета программы; Нунн же был слишком занят обеспечением безопасности, чтобы самому возиться с петицией, и переправил ее секретарю комитета программы — миссис Плашков, а та занесла в протокол, что комитет принял петицию к сведению, и подшила вместе с прочими документами; тут-то петиция и вернулась к Нунну. Нунн изучил ее с великим тщанием, но совершенно не представлял, как ее расценивать. Его чрезвычайно поразило, что, после того как они с миссис Плашков подписали петицию, чтобы вывести неблагонадежных на чистую воду, ее подписали решительно все сотрудники института. Означает ли это, что на самом деле все неблагонадежны? Или все подписывали, боясь, что их сочтут неблагонадежными, если они не подпишут петицию вслед за Нунном и миссис Плашков?

Во всяком случае, одно-то было ясно: историю с петицией затеяла Ребус, а то, кто затевает историю, безусловно, неблагонадежный номер один. Нунн тщательно продумал все, что касалось Ребус.

Прежде всего, она неряха, а это скверный признак с точки зрения безопасности. Нунн сделал пометку в ежегоднике скачек. «1. Неряха», записал он. И чем дольше размышлял Нунн о неряшливости Ребус, тем опаснее казалось ему это качество. Волосы у нее вечно всклокочены. Каблуки вечно сбиты. Во рту неизменно торчит сигарета — гвоздик, как выражается Ребус. По ее собственным словам, она не из тех дамочек, которые стесняются в выражениях. «Быть может, — вдумчиво рассуждал Нунн, — она гвоздь свой держит в самом углу рта только для того, чтоб посвободнее выражаться». Каков же итог размышлений? «2. Прическа», — записал он.

«3», — записал он. Что там третье по степени неблагонадежности? Ему не очень-то по душе была близорукость Ребус и толстые стекла ее очков. Опять же от дыма гвоздиков глаза у нее постоянно слезились и зрение еще больше ухудшалось. В довершение всего ее постоянно мучил резкий кашель курильщика, отчего вокруг безнадежно плясало перед глазами то небольшое, что она еще могла разглядеть. «3, — записал Нунн. — Искаженное восприятие мира».

Ходили слухи, будто Ребус равнодушна к виски. Что ж, все равнодушны к виски. Нунн и сам равнодушен к виски. Но ведь, как вынужден был напомнить Нунн сам себе, он не носит сильных очков, изо рта у него не висит сигарета, то бишь гвоздик. Опять-таки, есть в этой Ребус что-то неуловимо непристойное. Она вполне подходит под рубрику старой девы. Однако, когда она сидит, юбка у нее задирается выше колен. Сидя, она часто раздвигает колени на добрых полметра, так что минут десять–пятнадцать кряду Нунн может любоваться трусиками, то бледно-зелеными, то небесно-голубыми, то даже черными. Нельзя не ощутить, что где-то под невзрачной внешней оболочкой скрыта обнаженная, чувственная, даже распущенная женщина, а хриплый голос, режущий ухо разговорами про гвоздики и дерьмо собачье, — возможно, лишь слабый отголосок настоячивых душевных трелей. «4, — записал Нунн. Безнравственность (?) открывает простор для шантажа».

В общем и целом, нездоровая личность. В ежегоднике скачек Нунн обвел ее имя рамочкой. Рамочку он окружил зубцами, зубцы — рамочкой, новую рамочку — волнистой линией, волнистую линию — снова рамочкой. Вокруг всего этого он начертил фигурную кайму, фигурную кайму украсил новой рамочкой, зубцами и волнистой линией, а этот расширенный вариант — новой фигурной каймой. Потом низко склонился над делом рук своих и стал через один заштриховывать промежутки между обводами. Только одно тревожило Нунна во время работы. Долгий опыт борьбы с подрывной деятельностью подсказывал ему, что организатор петиции всегда лишь ширма для другой, гораздо более опасной личности, которая остается невыявленной. Вот на кого надо наложить лапу. Нунн перебирал в уме все подозрительные фамилии. Роу? Мак-Интош? Конечно, фамилии несимпатичные. Но слышится ли в них отзвук

взаправдашной измены? А как насчет Голдвассера? Голдвассер... Голдвассер... Есть что-то в этой фамилии — что-то неблагозвучное, настораживающее, нездоровое. Ничего определенного, конечно, просто чутье ветерана службы безопасности.

К списку недостатков Ребус Нунн прибавил еще один пункт. «5. Голдвассер», — записал он.

Ни Плашков, ни Ребус не жалели времени, чтобы сплотить тех, кто разделял их позицию в вопросе о торжественном открытии. Но трудно было заметить ощутимые успехи. Кулуарная обработка Плашков льстила тем, кому и без нее внушали отвращение подрывная уравниловка и Ребус. Усилия Ребус игнорировали решительно все, кроме тех, кто давно проникся благородным стародавним предубеждением против монархии и Плашков. Из этого общего правила были только два исключения. Первое Чиддингфолд, молчаливо признанный «ничьей землей» между двумя фракциями, а второе — Хоу, начальник отдела мод.

Хоу был идеальным объектом для кулуарной обработки. Ни одна кулуарная беседа с ним не пропадала впустую. Начать с того, что Хоу не питал предубеждения ни к кому, даже к тем, против кого предубеждены были почти все. Он считал, что Ноббс в глубине души искренен. Он верил, что у Голдвассера много достоинств и что Нунна никто не понимает. Он во всеуслышание заявлял, что Мак-Интош не виноват, если родился шотландцем.

Но, главное, душа у Хоу была открытая, восприимчивая к новым идеям. Как говорится, нараспашку. Мнения, теории, философские концепции входили у него в одно ухо, ненадолго задерживались и под напором новых убеждений и взглядов выталкивались через другое. Ламаркизм, монтеизм, фрейдизм, бухманизм, клейнизм, шпенглеризм — все это втягивалось сквозняком, весело кружилось внутри и уплывало прочь как ветром сдутое. Все зависело от того, кто последним беседовал с Хоу. Встретит он, например, во вторник утром человека, верящего в иглоукальвание, дешевые займы и викторианские обои ручного наката, и день-деньской будет хранить твердую, искреннюю верность этим идеалам готовый ради них на пытки и мученичество. Но к вечеру того же вторника ему встретится человек, который скажет, что в идеях иглоукальвания, дешевых займов и викторианских обоев ручного наката есть элементарные логические изъяны, и в среду Хоу будет источать тихую жалость к наивным, доверчивым простакам, замороженным этими идеями. «Работать надо по системе», — скажет ему бывало Роу за утренним кофе. «Знаю», — ответит Хоу, его добрые серые глаза засветятся искренним сочувствием, и он будет работать по системе до самого перерыва, а там Мак-Интоша дернет нелегкая заметить между двумя ложками супа: «Система — это методика машин и дураков». «Знаю», — ответит Хоу мягко, чтобы Мак-Интош не догадался, сколь тривиально его замечание. И всю вторую половину дня Хоу проработает бессистемно. Человек величайшей скромности, он знал, что в прошлом часто заблуждался и ныне ему явно не пристало бросать камень в самую что ни на есть бредовую идею, отказываться принять ее и приютить. Его мозг, не обремененный способностью к критическому мышлению, функционировал шустро и энергично, сплошь и рядом чужие доводы убеждали Хоу, прежде чем собеседник успевал изложить их до конца. Скажут ему, бывало: «Право же, ваша теория несостоятельна. Ведь если рассмотреть все доказательства...» «Знаю, — ответит тут же Хоу. — Знаю. Действительно, абсолютно несостоятельна».

В институтском воздухе только и слышалось симпатичное бормотание — это Хоу мягко повторял свое «знаю». Хоу любили все, ибо считали, что его идеи созвучны их собственным, и Хоу всех любил примерно по тем же причинам.

Дом у Хоу был такой же открытой, как и душа. Люди, едва знакомые с хозяином, приходили к ужину, оставались переночевать и задерживались на несколько месяцев, ссорились друг с другом, ломали мебель и выезжали под напором вновь прибывших. Время от времени без всяких поводов вспыхивали чудовищные пьянки, дом наполняли какие-то мерзкие личности и славные люди, которые притворялись мерзавцами, чтобы не обращать на себя излишнего

внимания, а потом так же внезапно и необъяснимо все затухало.

Жилище супругов Хоу, «Дом всех святых», хорошо соответствовало такому режиму. Это была неоготическая церковь XIX века, которую Хоу с женой сами перестроили и отремонтировали. Стряпали они в ризнице на искусно реставрированной плите ранней викторианской эпохи, спали в эффектных матросских гамаках в северном клиросе, ели в алтаре. Поперечные нефы перегородили стенками и каучуконосными растениями, выкроив из северного нефа комнату для игр, а из южного — лоджию-солярий, хотя палящий зной полуденного солнца заметно умерялся, пока лучи процеживались сквозь образа Св.Артура, Св.Джайлса, Св.Бэриана и Св.Мод. Крипту сдавали как однокомнатную квартиру, а весь корабль церкви остался нетронутым, служил столовой и гостиной одновременно. К купели приладили краны с горячей и холодной водой.

Эффект усиливали забавные предметы декоративного назначения: старая лебедка, электрофорная машина, епископская риза, эмалированные викторианские картинки — реклама ваксы и серных спичек, коллекция вставных зубов времен короля Эдуарда. Подобно бездомным скитальцам и великолепным пышнохвостым кометам, легендарного гостеприимства Хоу домогалась вся заваль лавок старого хлама со всего мира. В их доме это добро успевало отдышаться на пути к помойке, а затем его выкидывали ради еще более вопиющей дребедени.

Однажды вечером, в самый разгар веселья, Хоу, к своему удивлению и удовольствию, обнаружил, что среди гостей присутствует чуть ли не весь штат института имени Уильяма Морриса. Наверное, кто-то разослал им приглашения. Во всяком случае, вечер прошел на редкость удачно. При виде «Дома всех святых» сотрудники института ахнули, ибо, хотя многие переоборудовали под жилье нечто сугубо для этого не приспособленное, однако никто из них не посягнул на большее, чем коттеджи ремесленников, конюшни и приюты «Армии Спасения». Ради такого случая купель превратили в чашу для пунша, и вскоре весь неф огласился немислимым гамом: каждый разговаривал все громче и громче, стараясь перекрычать эхо, оглушительно гудевшее под крышей, и не было, пожалуй, такого уголка в помещении, где хоть кто-нибудь слышал, что говорит сосед, а это придавало сборищу особую прелесть — ведь не исключено, что со всех сторон так и брызжет ум и остроумие, стоит только вслушаться.

Плашков обхаживала Хоу, льстила ему, как только могла.

— Право же, вы на редкость удачно распорядились помещением, невнятно изрекла она.

— Знаю, — отвечал Хоу, уверенный, что она выдвинула очередную политическую или социологическую теорию.

— Это я про вас! — крикнула Плашков: ее хорошо поставленный женственный голос не был способен подняться выше известной ноты. Удачно!

— Знаю. Действительно, на редкость удачно, — с восхищением сказал Хоу, уже наслышанный о работах Васс.

Прибыли Чиддингфолд с женой и присоединились к своим подданным. Они встали как две гигантские снежные бабы, на голову выше остальных, массивные, недвижимые, замораживающие все поблизости. Чиддингфолд, казалось, стремился съежиться и уменьшиться, будто норовил стряхнуть с себя необозримую полноту власти и хоть на один вечер уподобиться простым людям. Откуда-то из глубин этой громадной крепости выглядывал маленький человек и улыбался вымученной улыбкой узника — человек отменно красноречивый, если учесть, сколько времени он провел в одиночном заключении. «Привет», — говорил он каждому, кто подходил достаточно близко, и застенчиво улыбался.

Голдвассер очутился рядом с директором.

— Привет, — сказал Чиддингфолд.

— Добрый вечер, директор, — сказал Голдвассер.

Директор улыбнулся. И Голдвассер улыбнулся. Больше говорить было не о чем. Но Голдвассер чувствовал, что обязательно надо сказать еще что-нибудь. Стояли они так, словно беседовали. Значит, должна же завязаться какая-то беседа, пусть даже минимальная. Глаза Чиддингфолда медленно опускались, пока не впились в непритязательные солнечные сплетения людей, находящихся от него на средней дистанции, а на губах его еще замешкались следы улыбки, словно крошки от холодной закуски. В отчаянии Голдвассер огляделся по сторонам, отыскивая подходящую тему. Искусство? Политика? Социология? Ни об одном из этих предметов ему ничего не лезло в голову. Он не мог вспомнить ни единой фамилии художника, ни единого злободневного вопроса политики или социологии. Его умственная деятельность была парализована, окоченела от волн холода, которые вопреки всем своим усилиям излучал Чиддингфолд. Голдвассер долго обозревал содержимое своего бокала, затем отпил из него медленно и вдумчиво. Бокал уже давно был пуст.

— Что ж, — сказал наконец Голдвассер, — по крайней мере каждый из нас теперь может утверждать, что в воскресенье побывал в храме божиим.

На мгновение глаза Чиддингфолда задержались на Голдвассере. В их глубине что-то промелькнуло — какая-то глубоко личная мука. Улыбка расширилась до предела вежливости, затем сузилась донельзя. «Беседа состоялась, — подумал Голдвассер, — теперь интервью не стыдно и округлить».

— Мне надо идти, — сказал он.

Чиддингфолд опять улыбнулся, на сей раз отрешенно, точно семейной шутке, которая пробудила в нем затаенную тоску о прошлом. Голдвассер выждал еще несколько секунд и отошел с таким решительным видом, будто спешил по срочному вызову.

Повсюду стоял прежний гам. Те из гостей, кто не имел отношения к институту, вслух возмущались теми, кто имел к нему отношение.

— Что это за люди? — кричали они друг другу.

— Какие люди?

— А вот эти падлы в твидовых спортивных пиджаках.

— По-моему, они из какого-то института.

— Так что же они здесь делают?

— Говорят, это друзья Хоу.

— Странные у него друзья.

— Подонки они, все до единого.

— Знай себе стоят и разговаривают между собой.

— Вижу. Только компанию портят.

— Да.

В одном из уголков с плохой акустикой Роу во весь голос вел профессиональный разговор с Хоу.

— Моя личная точка зрения, — прорывались отдельные слова, — ...где бы ни... решения... конечное количество возможных вариантов... справится вычислительная...

— Это верно, — прокричал Хоу.

— Лично я... красивая идея... программа... писать порнографические...

— Знаю. Как вы сказали?

— Порнографические романы.

— Знаю.

— И...

— Вот именно.

— И справочники по сексу.

— Знаю. Знаю.

Люди упорно подходили к миссис Плашков и спрашивали, пришел ли вместе с ней ее муж.

— ...думаю... где-то здесь, — отвечала она.

— ...прямо умирает...

— Ах, нет... жив и здоров...

— Нет, я всегда... познакомиться.

Нунн был в отличной форме. Он давал миссис Хоу подробный отчет о игре каждого члена английской сборной в течении всего 15-го международного чемпионата. Он понимал, что миссис Хоу ничего не смыслит в регби, и потому любезно переводил свой рассказ на язык футбола. Ему приходило в голову, что, возможно, миссис Хоу ничего не смыслит и в футболе, но ведь есть предел человеческим возможностям развлекать ближних своих. Никто не скажет, твердил себе Нунн, что он не лезет из кожи вон, стараясь быть обходительным даже с самыми безнадежными занудами. Шуточки он отпускает — и разъясняет в самой пикантной и смачной манере. Но ей-богу, если миссис Хоу не перестанет смотреть мимо него загнанным, одичалым взглядом, он занесет ее фамилию в свой справочник по бадминтону, иначе пусть его кастрируют.

Голдвассер чуть-чуть перебрал — достаточно, чтобы изумляться, сколь искусно он это скрывает. Видел он лишь прямо перед собой, как лошадь в шорах, и ограниченность поля зрения, казалось, необычайно способствовала концентрации его умственных способностей. На глаза ему попала кафедра, и он глубоко и неповторимо осознал всю нелепость находки — церковная кафедра на званом вечере! Он не мог не улыбнуться. Не мог согнать с лица эту улыбку.

Несколько позже он обнаружил рядом с собой Плашков. Она что-то говорила ему совсем невнятно, и ее глаза, брови и складки вокруг рта служили прелестной иллюстрацией к нерасслышанным мыслям. Плашков казалась Голдвассеру далекой, как будто он смотрел на нее в перевернутый телескоп. Он преисполнился к ней жалости. Каждая ее безукоризненная улыбка, каждое изящное поднятие бровей источали, казалось, невыразимую грусть.

— Ах, Плашков, Плашков, Плашков! — услышал он собственный вздох.

— Прошу прощения? — переспросила она невнятно.

— АХ ПЛАШКОВ! — взревел он.

Она одарила его вежливой улыбкой абсолютного непонимания.

— Как интересно, — сказала она.

Он жаждал хоть чем-то ее подбодрить.

— У вас красивые глаза, — сказал он. — Зеркало вашей прекрасной души.

— Прошу прощения? — сказала она.

— КРАСИВЫЕ ГЛАЗА! — прокричал он. На ее лице отразилось недоумение.

— РОВНЫЕ ЗУБЫ! — проревел он. — СТРОЙНЫЕ НОГИ!

Он сжал ей руку.

— Ах Плашков, — сказал он. — Я боготворю вас издали. БОГОТВОРЮ! Я! ОЧЕНЬ! ИЗДАЛИ!

Плашков стремительно высвободила руку и исчезла из его поля зрения в сумятице толпы. Когда он увидел ее снова, она говорила что-то миссис Хоу, и обе смотрели в его сторону. Миссис Хоу, казалось, была чем-то очень озабочена.

В северном нефе Хоу излагал миссис Роу свое жизненное кредо.

— Лично я считаю, — кричал он, — нам надо решить, что делать с вычислительными машинами. Существует бесконечное число возможных вариантов, но лично я думаю, что выбирать надо между порнографическими романами и справочниками по сексу.

— Что? — воскликнула миссис Роу.

— МЕЖДУ ПОРНОГРАФИЧЕСКИМИ РОМАНАМИ И СПРАВОЧНИКАМИ ПО СЕКСУ.

— Что с ними?

— ДОЛЖНЫ ЛИ ИХ ПИСАТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ?

— Вычислительные машины? С чего бы это?

— Знаю. Знаю. Вовсе не с чего.

Миссис Мак-Интош застряла возле Ноббса. Он прижал ее к столику с закусками и вся хворост или крутоны с сыром и протягивал ей, преграждая тем самым путь к отступлению. Время от времени он подкидывал ей какое-нибудь замечание по ходу действия.

— Занятный народ, не правда ли? — выкрикивал он.

— Что же в них занятого? — выкрикивала в ответ миссис Мак-Интош, из человеколюбия пытаясь сохранять жизнь любому зародышу беседы, пусть даже самому хилому.

— Не знаю. Просто на вид занятный.

Немного погодя он делал новую вылазку.

— Во всяком случае, на мой взгляд, — выкрикивал он. Но ведь может быть просто у меня самого мысли занятные.

Чтобы уберечь себя от скуки во время долгих пауз между замечаниями, он поглощал пригоршнями земляные орешки. Д орешка по-братски приютились у него в бороде. Когда общество истощило себя как тема, он перешел к жилищным вопросам.

— Жутковато здесь, — прокричал он. — На мой взгляд, больше похоже на церковь, чем на дом.

— Насколько я понимаю, раньше здесь была церковь, прокричала миссис Мак-Интош.

— Оно и похоже, — благосклонно подтвердил Ноббс. — На мой взгляд.

В поле зрения Голдвассера снова попал Чиддингфолд.

— Привет, — сказал Чиддингфолд все с той же ноткой наигранного удивления, как и прежде.

— Добрый вечер, директор, — сказал Голдвассер.

Сердце у него екнуло. Надо завязывать разговор, что само по себе трудно, да еще не дать этим пронизывающим голубым глазам заметить, что ты слегка окосел. Он стал судорожно изыскивать тему, но все темы мира, казалось, ринулись прочь из его узкого поля зрения и затерялись в оглушительной неразберихе, царящей по сторонам. Он поднял пустой бокал и долгое время бесстрастно разглядывал его на свет.

— Вот, — выговорил он наконец с величайшим тщанием, первая вечеринка, после которой можно оправдываться перед тещей, что был не где-нибудь, а в церкви.

Улыбка Чиддингфолда на миг расплзлась и снова съежилась. «И все, — подумал Голдвассер. — И дело с концом. Проще простого». Назад к купели он двинулся совсем веселый.

В южной части алтаря миссис Хоу советовалась с миссис Нунн.

— Никогда не знаешь... Что надо делать...

— А что надо делать?

— Я никогда не знаю...

— Что?

— Насчет Голдвассера... Очень пьян...

— Очень пьян? Голдвассер?

— По словам миссис Плашков, он... Потом... И сгреб ее в объятия.

— Голдвассер? Полез к миссис Плашков?

— И говорил... Ужасные вещи...

— Надо полагать, сквернословил.

— ...Ноги...

— За ноги?

— А потом... Зубы...

— Он? Вцепился в нее зубами? Укусил?

— Ах... Должно быть, очень оскорблена.

Мак-Интош стоял на кафедре, тяжело опираясь на ее крышку, как у себя на портале подъемного крана, и рассеянно глядел на разгуливающие по залу этические машины — быть может, прикидывал, которая из них спрыгнула бы за борт ради спасения мешка с песком. У подножия кафедры стоял Голдвассер и пристально смотрел на него снизу вверх.

— Хорошо бы кто-нибудь спас мою жену от Ноббса, — прокричал Мак-Интош. — Но суть в том, Голдвассер, что я вот все стараюсь записать. То есть забыть. Фрейдистская обмолвка, Голдвассер. Суть в том, Голдвассер, действительно ли вы умнее меня?

— Не уверен, Мак-Интош. Думаю, что умнее.

— Наверное, вы умнее. Вас это не тревожит порой?

— Тревожит.

— И меня. Но послушайте, Голдвассер, по-моему, вы так дьявольски умны, что сами видите, до чего ограничен ваш ум. А у меня наоборот: я так глуп, что даже не могу понять, до чего же я глуп.

— Знаю.

— Так что в конечном итоге я, возможно, умнее вас. Вы улавливаете ход моей мысли?

— Да, я и сам об этом давно подумывал.

— Ага. Подумывали и тут же подвергали сомнению?

— Конечно.

— Ваш ум сам себя разрушает, Голдвассер.

— Что за банальное замечание, Мак-Интош! Бог ты мой, какой вы чурбан, Мак-Интош, какой тупоумный, упрямый толстокожий кретин! Если бы вы только знали, как вы меня порой раздражаете!

Они пристально смотрели друг на друга, довольные собой.

— Отвратительное фиглярство, — сказала миссис Нунн, обращаясь к миссис Чиддингфолд. — Сейчас... Во весь голос оскорбляет Мак-Интоша... Двумя минутами раньше... Непристойная выходка... Бедняжка Куини Плашков...

Вечеринка затихала по мере того, как темы разговора одна за другой оказывались загнанными в угол или забитыми насмерть. Стоя рядом с Нунном, Плашков обнаружила, что вновь слышит собственный голос.

— Не пойму, удалось мобилизовать Хоу или нет, — сказала она.

— Что «или нет»? — переспросил Нунн.

— Мобилизовать Хоу.

— Мобилизовали? Очень здорово.

— Кто-то вбил ему в голову неслыханную идею — запланировать и осуществить в институте программу автоматизации порнографических романов и справочников по сексу.

— Чего?

— Порнографических романов и справочников по сексу.

Нунн оцепенел. Порнографические романы и справочники по сексу! Опять поднимают свои подлые головы! Для того ли он столь умело искоренил эту ересь в Мак-Интоше, чтобы увидеть, как она снова прет из Плашков? Ни дать ни взять подземный пожар: прорывается там, где меньше всего ожидаешь. Ну, пусть Плашков не воображает, что покровительство, которым она пользовалась у него раньше, спасет ее теперь от занесения в «Спортивные рекорды».

— Очень здорово, — сказал он рассеянно. — Значит, это ваша идея, да?

— Не моя. Хоу.

Хоу. Конечно, мог бы и сам догадаться. Ненадежный человек Хоу, слабое звено цепи. Надо взять его на заметку. Собственно, можно считать, что он уже взят.

— Хотя, зная Хоу, — продолжала Плашков, — человек никогда не заподозрит, что он сам это придумал.

— Как вы сказали?

— Просто повторяет... Сам Хоу. Должно быть, это придумал кто-то другой.

— Кто-то другой? Кто же?

— Человеку не дано знать. Но, судя по его сегодняшнему поведению, я бы ничуть не удивилась, если бы это оказался Голдвассер.

— Как вы сказали?

— ГОЛДВАССЕР!

Голдвассер! Выходит, зачинщик всей этой порнографии Голдвассер. Конечно, Голдвассер. Не кто иной, как Голдвассер своевольничает в уборной для начальства. Не кто иной, как Голдвассер подбил Ребус на петицию. С одного взгляда видно, что Голдвассер — бунтовщик, законник-самоучка, всякой бочке затычка. Знает Нунн ихнего брата.

Он достал свой блокнот. Под третьим марта стояло «Голдвассер». Под пятым декабря, семнадцатым августа и двадцать третьим января — «Голдвассер». В разделе «для заметок» «Голдвассер». В строке «номер государственного страхового полиса» — «Голдвассер». В графах «футбольные бутсы», «правовые термины», «бильярдные рекорды» — «Голдвассер», «Голдвассер», «Голдвассер». Все улики налицо. Поразительно, как это он не заметил их раньше.

Вечеринка близилась к концу. Наступила прощальная суматоха — люди подходили поблагодарить хозяев или поздороваться с теми, с кем не могли себя заставить поздороваться раньше. Из своего убежища в алтаре выбрался Голдвассер и тотчас же обнаружил, что неотвратимо столкнулся нос к носу с Чиддингфолдом.

— Привет, — сказал Чиддингфолд с ничуть не большим и не меньшим удивлением, с ничуть не большим и не меньшим энтузиазмом, чем прежде.

— Добрый вечер, директор, — сказал Голдвассер.

Мысли его трусливо разбежались. Не может он по три раза в вечер беседовать с Чиддингфолдом! Это превышает все пределы человеческой выносливости. Какую-то долю секунды он верил, что молча повернется и непринужденно покинет этот дом. Затем решил, что вот-вот упадет в глубокий обморок. Но сердцем чуял, что придется устоять на ногах и держать речь. Он заглянул в свой бокал, встряхнул несуществующую жидкость, прополоскал ею рот и шумно проглотил. Он отчаянно терзался вопросом: узнал его Чиддингфолд или же директорский мозг так далек от частных дел, что даже не отличает одного человека от другого. Ясно было только одно: на сей раз надо изобрести для разговора неизбежную тему.

— Как прирожденный виг, — сказал он с напыщенностью, стоившей ему немалого нервного напряжения, — я со смешанным чувством отношусь к перспективе рассказывать своим внукам, что был когда-то участником церковной пирушки.

Но еще не кончив тирады, он понял, что пережевывает все ту же остроту. Он не осмелился проследить за вымученным приливом и отливом безрадостной улыбки Чиддингфолда. Но этого не потребовалось, ибо тут как раз общее внимание было отвлечено. Откуда-то появилась Ребус, но Ребус преображенная улыбающаяся, румяная, обычно сонные глаза ее горели как уголья. Где она была до сих пор, никто не знал, но что она там делала, догадался каждый. Она обвила руками шею Чиддингфолда и, широким жестом указывая на восточную часть дома, пропела:

— Уолтер, мой Уолтер, прикрой наш грех венцом!

Воцарилось потрясенное, гипнотизирующее молчание. На какой-то миг все оцепенели — кто посреди рукопожатия, кто не кончив натягивать пальто. Невыносимо было видеть, как на Чиддингфолде повисла пьяная баба, но слышать, как его запросто называют по имени, от этого даже у самых хладнокровных поджилки затряслись. Затем Ребус устремилась было куда-то в сторону, видимо намереваясь силой потащить Уолтера под венец, и оба, не размыкая объятий, тяжело грохнулись о пол. Последним, что увидел Голдвассер, прежде чем солидный народ поспешил разнять «кучу малу», было лицо Чиддингфолда, по-прежнему не замутненное страданием, по-прежнему прочно запертое на вежливую смущенную улыбку.

Нелегко было сконфузить Ребус, но при мысли о том, как вольно обошлась она с Чиддингфолдом, ее охватывало чувство, весьма далекое от апломба. Думая об этом дома, в умиротворяющей обстановке среди книжных навалов, пачек с гвоздиками и лежалых окурков, в огромной и пустой викторианской комнате, где поместились бы сорок человек и восемь лошадей (или же одна Ребус с обильными отходами своей повседневной жизни), она считала инцидент забавным пустяком, без каких не обходится ни одна порядочная вечеринка. Но думая об этом на работе, в институтской лаборатории, в несколько более чуждой обстановке книжных завалов, пачек с гвоздиками и лежалых окурков, она все-таки испытывала чувство, крайне близкое к смущению. Непристойная выходка — полбеда. Всякий может повиснуть на другом в бесшабашную минуту. Но на Чиддингфолде! И как это ее угораздило выбрать именно Чиддингфолда? Она уже не помнила в точности, что имела в виду, когда появилась из-за кафедры и увидела Чиддингфолда, улыбающегося своей бледной светской микроулыбкой. Почти забыла, ощущала ли она неутолимую жажду любить или настоящую потребность подразнить этого большеголового, вежливого идола, беззащитного в своей неуязвимости. Или то и другое сразу. Или на какой-то миг ей показалось, что это одно и то же.

Так или иначе, у нее полегчало на душе, когда кто-то из сотрудников лаборатории рассказал, что на том же вечере Голдвассер полез к миссис Плашков. Милый старина Голдвассер! По крайней мере в институте она не единственная носительница нормальной половой активности. Чем дальше размышляла она о Голдвассере, тем больше удивлялась, как это до сих пор не поняла, что он секс-бомба. Он ведь такой мягкий человек, нервный, деликатный, — парадокс взывал к разрешению.

Она почувствовала укол ревности, оттого что Голдвассер полез не к ней, а к миссис Плашков. Ее снедало жгучее похотливое любопытство — или жгучая нежность, и вот однажды днем она явилась к Голдвассеру в его лабораторию, зная, что в это время он там один.

— Ну-с, — пропыхла она, соблазнительно присев на краешек стола и запрокинув голову, чтобы сигаретный дым не ел глаза, — как делишки, голубчик Голдвассер?

— Отлично, — сказал Голдвассер.

— Надеюсь, вас не пугает тет-а-тет с местной блудницей?

— Это кто же такая?

— Я, дружище.

— Вы?

— После той вечеринки этого уже не скроешь.

— А-а! Да, то есть, гм...

— Не стесняйтесь в выражениях, мальчик. Я ведь в сущности местная мессалина.

— Ага. Понятно.

Голдвассер сделал попытку словно невзначай откинуться на спинку кресла. Всякий раз как Ребус кашляла, пепел с ее сигареты интимно садился к нему на колени.

— Во всяком случае, нам надо держаться друг дружки.

— Кому?

— Нам с вами.

— А-а. Да, пожалуй.

— Одного поля ягоды.

— Что?

— Два сапога — пара, старина.

— Ага.

Голдвассер не совсем понимал, на что она намекает. О том, как Голдвассер оскорбил миссис Плашков, в институте знали все, кроме самого Голдвассера. Тактично щадя его самолюбие, никто ему об этом даже не намекнул.

— Вообще как-то смешно, старик, — сказала Ребус, задрав ногу на подлокотник голдвассерова кресла, так что ее колено пришлось вровень с его лицом, — мы ведь никогда не объединяли своих усилий.

— Гм.

— Вам не кажется, что это просто чертовски странно?

— Ну... Да... То есть...

Голдвассеру все труднее и труднее было не замечать, что над коленкой у Ребус спустились две петли чулка и что белье у нее апельсинового цвета. Ему не хотелось несправедливо осуждать кого бы то ни было, но он не мог не припомнить, как Ребус висла на Чиддингфолде. Он старался подавить недостойный мужчины страх.

— Надеюсь, вы не возражаете, что я с вами так разговариваю? — спросила Ребус.

— Нет.

— Вы же меня знаете. Я всегда называю вещи их погаными именами.

— Да.

— И в конце концов у нас с вами действительно много общего.

— Да?

— А разве нет?

— Неужели?

Голдвассера гипнотизировали крохотные белые кружочки на колене у Ребус — все новые и новые появлялись по мере того, как под самым его носом хлопья горячего пепла от сигареты прожигали нейлоновый чулок. Голдвассер понял, каково же приходится кролику под взглядом удава. Внезапно у Голдвассера появилось предчувствие, что через секунду–другую Ребус набросится на него, как на Чиддингфолда, запоет скабресную песенку и повалит на пол. С трудом оторвав глаза от ее коленки, он поспешно вскочил и стал озираться по сторонам, ища предлога для бегства.

«Боже всемогущий! — подумала Ребус, испытывая главным образом прилив ужаса, — этот громадный буйный зверь сейчас набросится на меня прямо тут же».

Мгновенно ее одолел затяжной приступ кашля. «Психосоматический», подумала она, а недокуренный гвоздик выскочил у не изо рта и свалился в корзину для бумаг. Ребус и Голдвассер еще вываливали на пол содержимое корзины в поисках горящего окурка, когда вошел Ноббс с папкой под мышкой.

— Если только я не помешал вашей личной жизни, брат, сказал он Голдвассеру, — вы, может, сообщите, когда вы намерены и намерены ли вообще принять решение насчет папки «Парализованная девушка еще будет плясать».

— Сейчас же! — воскликнул Голдвассер. — Не уходите, Ноббс. Возьмите себе стул, Ноббс.

Позднее Голдвассер почувствовал, что заблуждался как дурак относительно всего эпизода, и убедился, что Ребус имела в виду лишь дружескую беседу. Он отправился к ней в лабораторию налаживать отношения, но не застал на месте. Скользя взглядом по предметам, разбросанным в ужасном беспорядке, дабы убедиться, что Ребус не затерялась среди всего этого хлама, он заметил на пульте отдельской вычислительной машины «Эджекс-IV» поздравительную открытку, размалеванную херувимами, колоколами и позолотой. На открытке было написано:

Моему родному крошке Эджексу.

Иногда ты бываешь гадким мальчишкой, но я все прощаю, потому что сегодня тебе исполнился ровно год. Очень люблю, крепко целую.

Мамочка.

Впоследствии ни Ребус, ни Голдвассер даже не заикались ни об одном из этих случаев.

Роман о Лизбет и Хоуарде Роу сунул в долгий ящик, собираясь поднатаскаться в этом деле по специально купленной «Энциклопедии сексуальных извращений». А тем временем он начал работу над бесхитростным комическим романом «Выбирай хахалю себе под статью».^[3]

— В сущности, ничего особенного, — сказал он однажды Голдвассеру, когда тот заскочил среди дня узнать, как идут дела. — Просто, в общем, ну, о совершенно заурядных парнях.

— Как мы с вами? — спросил Голдвассер.

— Вот именно. В них нет ничего выдающегося. Их четверо, они только пьют вино и добиваются милостей совершенно заурядной девушки. Ее зовут Энни Булка.

— А их? Грэм Стендиш, Патрик Мелхиш, Дик Корниш и Джим Парриш?

— Нет... Патрик Корниш, Джим Стендиш, Дик Парриш и Грэм Мелхиш. Хотите взглянуть?

— Надо понимать, роман уже закончен?

— Нет. Пока готова только первая сцена совращения. Я решил: напишу-ка сначала все сцены совращения, а потом уже вставлю остальное.

— Это остроумно.

— Во всяком случае, здесь у меня Грэм Корниш... то есть нет, Патрик Парриш приводит Энни в свою однокомнатную квартирку. Надеюсь, вы разберете черновики. Я к тому, что вам вовсе не обязательно маяться, если в не хотите.

— Конечно.

— Но если вам действительно интересно...

— Ну да.

— Тогда скажите, что вы об этом думаете.

Голдвассер взял рукопись и прочитал:

«Грэм издал звук, поразительно похожий на фырканье воды, текущей из какого-то особенно капризного крана. Энни звук этот не очень-то понравился. Он напомнил ей фырканье газовой колонки в ванной родительского дома. Нет уж, увольте, именно сейчас такое воспоминание ей ни к чему. Она притворилась, будто ничего не слышит.

— Бог мой, — сказал Грэм, — нельзя, чтобы такие девушки, как ты, гуляли на свободе. Право же, нельзя. Ты соглашаешься прийти к хахалю домой, а потом напускаешь на себя вид недотроги, а бедный хахаль или ухажер, в данном случае твой покорный слуга, томится, высунув язык.

— А что здесь плохого? — спросила Энни, садясь на тахту подальше от Грэма, но не так далеко, чтобы показаться жеманницей.

— Что здесь плохого? — взвыл Грэм. — Язык простужу, вот что плохого, юная леди.

Энни невольно залилась колокольчиком. Она решила, что у Грэма определенно есть чувство юмора, пусть даже сам Грэм «не такой юноша, которого можно пригласить домой и представить родителям», и сейчас он скорее всего ляпнет что-нибудь неудобоваримое, вроде: «Сделай так, чтобы мне было хорошо, детка». Она заметила, что чужая рука уже крадется мышонком по дивану к ее правой коленке. Энни перехватила эту руку, собираясь отбросить врага со своей территории, и обнаружила, что, пока ее внимание было отвлечено диверсией, Дик успел поработать сверхурочно — другой рукой обвил ее плечи. Чувствовать у себя на плече руку Грэма определенно приятно, решила она.

— А ты лакомый кусочек, — выдохнул он ей в ухо и потыкался туда носом.

Смешно, размышляла Энни, сколько мужчин норовили ткнуться носом ей в ухо и, пуская слюни, сообщить, что она лакомый кусочек.

— Нет, — сказала Энни со всей доступной ей твердостью. Она признавала свою вину, но не объяснять же, что тем ребятам, которые ей особенно нравятся, она обычно после шикарно проведенного вечера разрешает заходить довольно далеко, но неизменно настаивает, чтобы все делалось как положено. А положено, по ее мнению, сначала обвить рукой девичьи плечи, потом поцеловать, потом погладить по спине, потом засунуть руку за кофточку и погладить спину под кофточкой, а потом уже хвататься за грудь.

— О боже, — простонал Патрик, — опять на исходные позиции. Стоит мне подняться хоть на самую маленькую ступеньку, как я вижу, что наверху меня поджидает ядовитая змея. Что у вас на уме, юная леди? Чем вам не нравятся нормальные здоровые отношения между хахалями и хахалицами? Неужели вы думаете, что здоровая порция доброго старого лапанья на английский манер — это неприлично?

— О нет, — сказала она поспешно. — Я думаю, что это очень мило. Просто все надо делать по порядку, а не как заблагорассудится.

— О боже, — простонал Грэм. — Надеюсь, ты не собираешься морочить мне голову своей пресловутой девственностью, а? Потому что ты ведь сама понимаешь, что к чему.

Энни невольно прыснула. Не могла она долго сердиться на мужчину, который увлекает ее такими шуточками. Она позволила ему снова обвить себя рукой. И решила, что это приятно. Она даже не стала возражать, когда спустя приличное время он перешел к экспериментальной программе покусывания уха, поглаживания по спине и тисканья коленок. Приятно, если тебя покусывают. По спине и коленкам тоже разлилось приятное ощущение.

— Я успел-таки покурлесить на своем веку, — выдохнул он, — но провалиться мне на этом самом месте, скажу тебе то, чего еще никому не говорил: ты просто первый сорт, малютка. Кроме шуток.

Он поцеловал ее, и поцелуй, казалось, длился не меньше миллиона лет. Ее пронизало странное ощущение, и какой-то миг она не могла найти слов, чтобы его описать. А потом, когда их губы ненадолго расстались — краткий отдых от неотложной работы, — она нашла нужные слова.

— Это было приятно, — сказала она.

Еще через секунду она почувствовала, как грязная лапища путается в мертвых якорях славного корабля — лифчика.

— Извини, приятель, сказала она, не без сожаления выпрямляясь, но здесь наши пути решительно расходятся.

— О боже, — вскричал негодующий Дик. — А я то думал, вся эта белиберда вымерла вместе с ботфортами!».

— Вот все, что я пока успел написать, — сказал Роу, когда Голдвассер отложил рукопись.

— Мило, — сказал Голдвассер.

— Нет, серьезно, скажите, что вы об этом думаете.

— Очень мило.

— А конкретнее?

— Ну, по-моему, это просто, ну мило.

— Да полноте. Будьте откровенны. Не бойтесь задеть мое самолюбие.

— Ладно. По-моему, решение очень любовое.

— Любовое?

— В том смысле, что действие развивается между любовым обсуждением всех «за» и «против» добрых половых отношений и любовыми остротами в сфере подтяжек и бретелек. Идея мне нравится. Она очень... Ну, очень любовая.

— Я рад, что вы так считаете. Должен признаться, я и сам считаю, что это жизнь как она есть.

— Да и язык очень... Ну, очень любовой, не так ли?

— По-моему, да. И довольно свежий, правда?

— Да, очень свежий. Свежий, но без похабщины, я это сразу отметил. И без всяких там провокационных полутонов, иногда свойственных этой теме.

— Да, пожалуй...

— И обрисованы персонажи великолепно. А чем кончается?

— Там Патрик...

— Не надо, я сам угадаю. Патрик напивается на какой-то вечеринке. Энни залучает его в спальню и липнет к нему до тех пор, пока он не уступает, слишком вымотанный, чтобы продолжать сопротивление.

— Нет, видите ли...

— Ну, так она заставляет его отбросить шуточный тон и все нахальство, что кроется под этим тоном, и берет верх вынуждает Патрика произнести два простых слова, одно за другим. Для него это поначалу мучительно, а потом он даже рад.

— Я улавливаю идею, Голдвассер, но...

— Энни, разумеется, испытывает миг острого блаженства. Но больше всего удовольствия ей доставил сам процесс — сдирание всех слоев претенциозного многословия. Грустная история, Роу, но надо признать, что в ней есть солоноватый привкус настоящей жизни.

Комитетов теперь было тридцать, и сообща они проделали раз в тридцать большую работу по планированию неофициального приема, который понравится ей, чем проделал бы любой из этих комитетов в одиночку. Когда об этом задумывались отдельные члены, их порой даже удивляло, насколько далеко они продвинулись. По отдельности никому из них и в голову бы не пришло, что ей больше понравится, если мужские уборные будут заколочены досками, а вот комитетам это было ясно как день. Если бы Роу, например, или Голдвассер строили планы просто как Роу или Голдвассер, им бы в жизни не додуматься, что прием едва ли можно назвать неофициальным, пока не взяты напрокат тысяча двести квадратных футов дерна и не уложены во дворе поверх асфальта, чтобы на день превратить этот двор в неофициальный сад. А вот для комитетов это само собой разумеется.

Чем дольше размышлял об этом Голдвассер, тем больше удивляли его совместные действия Мак-Интоша, Роу, Ребус и Хоу — в конце концов, именно они составляли активное большинство в комитетах. Чем дольше размышлял об этом Мак-Интош, тем больше удивлялся совместным действиям Хоу, Ребус, Роу и Голдвассера. Роу, Хоу и Ребус испытывали такое же удивление.

Для начала эти пятеро создали нечто вроде демократического блока. Но после двух заседаний Мак-Интош напрочь утратил интерес к делу. Голдвассер сохранил интерес теоретический, но не мог замедлить свою умственную деятельность настолько, чтобы на практике следить за ходом обсуждения вопросов в комитетах, и снова и снова, очнувшись от грез о кубическом корне скорости света, слышать, как миссис Плашков говорит: «...считать принятым единогласно. В таком случае занесите, пожалуйста, в протокол, мисс Фрам». Хоу, разумеется, всегда поддавался доводам противной стороны, а Ребус, по общему мнению, становилась ОДНООБРАЗНОЙ в своей шумной оппозиции ко всему на свете. Подавленная эпизодом с Чиддингфолдом и несколько сомнительным характером своих отношений с Голдвассером после суеты вокруг корзины для бумаг, она и сама находила себя однообразной.

А у Роу взгляды изменялись. Ему уже не казалось явной нелепостью воздвигать перед институтом барьеры во избежание давки и собирать за этими барьерами толпы народу. Теперь он полагал, что если люди, проталкивающие какие-то дела, достигают цели, то они вовсе не такие дураки, какими иногда считают их люди, не умеющие проталкивать никаких дел. Если люди проталкивают дела, значит это люди уважаемые и благоразумные. А если люди уважаемы и благоразумны, то протолкнутые ими дела тоже уважаемы и благоразумны.

Область доводов «за» и «против» всегда казалась ему невероятно запутанной. Задав себе среди ночи один из вопросов, вынесенных на скоропалительное голосование, он понял, что не вполне разбирается, какие из доводов «за» и какие «против». Он не вполне соображал, где кончаются доводы «за» и начинаются доводы «против». Или, вернее, он принимал часть доводов и «за» и «против». Еще точнее, почти принимал часть доводов и «за» и «против».

В этом бредовом лунном пейзаже он воспринимал с абсолютной четкостью только самого себя. Ему рисовалось, как он стоит во весь рост и с упорством нестигаемого интеллекта, с подкупающей скромностью разбирается в жутких сложностях. «Исчерпывающий анализ современных проблем, — гласили выдержки из рецензий, казалось, повисших в небе над земным хаосом. — Освежающая способность добираться до сути дела. Вот человек, которого не проведешь».

Вокруг собственной выпукло очерченной центральной фигуры, среди непроходимой чащи

доводов вырисовывались и другие, более размытые лица. Мак-Интош, Плашков, Чиддингфолд, Нунн все смотрели на Роу с надеждой, ожидая указаний. Он поймал себя на том, что пятится прочь от зарослей, скрывающих Ребус и Голдвассера. Есть в обоих что-то... Ну, что-то, не внушающее доверия. Конечно, не сексуальные странности. Это-то вряд ли, учитывая, что Роу человек, о котором в газетах писали (или напишут, как только представится случай): «Его широкая терпимость к слабостям человеческой натуры вошла в поговорку». В романе понатыкано столько высоких и острых грудей, что никто не смеет оспаривать свободомыслие Роу в данном вопросе. Но есть в этих людях что-то нездоровое. Например, петиции, которые затевает Ребус. Респектабельные люди таких вещей не делают. И Голдвассер. Трудно было ухватить в точности, чего именно Роу не приемлет в Голдвассере. Он интуитивно чувствовал, что Голдвассер не очень-то большой знаток литературы. Опять же, есть в нем какое-то легкомыслие. Не тот он человек, на чью верность в беде могут положиться друзья. В общем, грубо говоря, не тот человек, которому захочешь, например, показать книгу в процессе работы над ней.

Как бы то ни было, когда настало время голосовать предложение о том, чтобы раскрасить несуществующие шторы на окнах нефункционирующего склада за международным отделом, макинтош вообще не явился, Голдвассер ничего не расслышал толком, Ребус выступила против, причем ей еле-еле удалось временно переубедить даже Хоу, а Роу сознательно и демонстративно проголосовал «за».

От принятого решения у него стало легко на душе. Наконец-то он сбросил с себя оковы юности и избавился от безответственности. Наконец-то он стал респектабельным человеком.

Где бы приобрести пару золотых церемониальных ножничек, чтобы перерезать ленту? Протокольный комитет этого не знал и запросил подкомитет по церемониалу. Подкомитет по церемониалу в замешательстве обратился к Объединенному консультативному комитету протокола и церемониала, а Объединенный консультативный комитет протокола и церемониала, по совету Хоу, запросил Хоу.

Хоу мигом раздобыл журнал «Новые товары для церемоний» и по тамошним объявлениям выбрал фирму «Имперские товары для церемоний», которая, по всей видимости, обслуживала высшие сферы и входила в синдикат «Взаимная гарантия надежности поставщиков товаров для церемоний».

— Золотые ножнички для церемонии? — переспросил заведующий, когда Хоу посетил выставочный зал. — Конечно, сэр. Вам на заказ? Или показать что-нибудь из широкого ассортимента имеющихся товаров? В наши хлопотные дни они пользуются большим спросом. Что вы имеете в виду, сэр? Позолоту, дутое золото, позолоченное серебро или цельное золото? С гравировкой, орнаментом, с инкрустацией из драгоценных камней или без украшений? Для левой руки или для правой? Теперь, что касается длины, могу предложить любые от шести до двадцати дюймов. Если вам нужны побольше или поменьше, то боюсь, такие придется изготавливать несерийно. Вот довольно приятная модель, сэр. Это «Сандрингем»^[4]. Очень славные ножницы, правда же, очень славные. Может быть, вам угодно взять в руки, сэр? Чувствуете, какие покладистые? Испробуйте их на демонстрационной ленте, вот здесь... Правильно, сэр. Превосходно действуют, не правда ли?

А может быть вы предпочитаете нечто более традиционное? Взгляните на «Осборна»^[5]. Эта модель уже много лет остается непревзойденной. Надо полагать, кое-кто счел бы их чуть-чуть старомодными, но тем не менее они прекрасно раскупаются. Да-да, в традициях что-то есть, сэр, правда ведь, что бы там ни говорили...

Вот эти, сэр? Это «Холируд»^[6]. Массивные ножницы для лент потолще. Практика показала, что крупные подрядчики и технические фирмы поставляют ленту весьма большой ширины, если за ними не присматривать.

А вот это «Балморал». Сейчас в большой моде, сэр. То, что называют итальянским фасоном. Очень изящный образчик ножничного искусства, сэр, пользуется бешеным спросом среди молодежи.

Конечно, если вас лимитируют финансовые соображения (а кого они в наше время не лимитируют?), вы скорее предпочтете вложить деньги в подержанные ножницы. Да, конечно. Прошу вас, пройдите сюда, сэр. В наличии весьма разнообразный набор подержанных ножниц с гарантией. Все они, конечно, затачивались в наших же мастерских. Как вы сказали, сэр? Да, сэр, прежние надписи удалены, сэр. Вовсе нет, сэр, вовсе нет. Крайне разумный вопрос.

Подержанные ножницы — вон в тех футлярах. Не заинтересует ли вас что-нибудь еще? Золотые молотки? Серебряные мастерки? Церемониальные выключатели? Да, да, сэр, выключатели вон на той стене. Как вам нравится самый большой? С его помощью герцогиня полусекс открывала новую гидроэлектростанцию Коектоу. А вы-то для чего предназначаете, сэр?.. Для вычислительных машин? Вам, наверное, подойдет вот этот, с позолоченными конденсаторами. Мы изготовили его в наших мастерских для мисс Ромейн Рокси — включить огни иллюминации на Уэнстонсьюпер-Мэр. Потом его использовали еще раз на иллюминации в Саутшилдз, распорядителем там был, если не ошибаюсь, лорд Дургем. Этот выключатель немало рассмотрелся, сэр.

Откровенно говоря, я частенько подумываю: «Если бы вещи умели говорить, чего бы они только не порассказали!» Возьмем, к примеру, тот молоточек с рукояткой слоновой кости. Это особая модель повышенной легкости, изготовлена для вдовствующей маркизы Минаи — она закладывала фундамент нового спортивного зала в своей старой школе. Очень, знаете ли, хрупкая женщина. Или вон та золотая лопата в углу. В 1927 году лорд Фроум с ее помощью сажал мемориальный дуб в саду Андоверской пресвитерианской семинарии. Ему тогда было восемьдесят четыре года, для такого дела он поднялся со смертного одра. И спустя неделю он умер, сэр.

Подумайте о дверях, которые открывались этими вот золотыми ключами, сэр! Подумайте обо всех пирогах, которые были разрезаны этими вот церемониальными шпагами! Между прочим, сэр, если вы желаете что-либо испробовать в действии, то наш демонстрационный театр оборудован полностью: есть и первый камень для фундамента, и пирог, и нос корабля...

Это, сэр? Это позолоченный стартовый пистолет, которым сэр Роберт Хамбл в 1936 году открыл Олимпийские игры мандатных территорий... Это серебряный микрофон, через который Рок Ролли пропел тысячную песенку, изданную компанией «Соборная музыка»... Серебряный штопор, которым орудовал генерал сэр Родрик Длинбрюк на двухсотлетию Браун-клуба... Посеребренный пенс, которым в 1921 году Хорейс Жердинг торжественно открыл новую общественную уборную в Кройдоне... Золотая заводная ручка, которой румынский король завел первый «Остин-7», пущенный в продажу в Бухаресте... Бриллиантовая чека гранаты, с помощью которой Муссолини начал вторжение в Абиссинию.

Хоу совершенно обалдел. Он заказал ножницы «Балморал», выключатель с инкрустацией из драгоценных камней, мастерок с серебряной рукояткой, кусок золотой цепи неизвестного назначения, золотой ключ и золотую газовую свечу, которой бывшая принцесса Беатриса Швабская некогда зажгла священный огонь в память коров и овец, павших смертью храбрых на муниципальной скотобойне в Уэст-Уодзуорте.

В минуты усталости и телеологического прозрения Голдвассер порой считал, что улавливает цель жизни Ноббса. Ноббс живет, чтобы указывать предназначенное Голдвассеру место, и для этого усложняет работу в отделе прессы, довольно простую по сравнению с работой коллег из других отделов.

Другим отделам связывало руки то обстоятельство, что даже самая мощная из вычислительных машин наделена всего лишь частицей могущества и сложности человеческого разума. Голдвассеру это рук не связывало. Роясь в папках с газетными вырезками, он обнаружил, что вытесняемый машиной человеческий разум не блещет ни могуществом, ни сложностью. А если и блещет, то не дает этому блеску влиять на работу. Словно предвидя ограниченный интеллект вычислительных машин, которые его когда-нибудь вытеснят, этот разум заблаговременно пошел по пути самых крутых упрощений.

Голдвассеру не было никакой нужды растрачивать ограниченную емкость запоминающих схем на то, чтобы забивать машину понятиями «кортизон», «стрептомицин», «циклизин», «сульфафенилтриметиламинодиазин», «карболовая кислота» и «аспирин». Все они относились к категории «чудо-лекарств». Кенсингтон, Вестминстер, Холборн, Пэддингтон, Хэммерсмит и Эджевер^[7] успешно сводились к единственному слову «Мэйфер»^[8]. Одну из обширнейших и самых многогранных сфер объяло коротенькое словечко: порнография, брак, эксгибиционизм, любовь, содомия, рождение, нежность, стриптиз и т. д. и т. п. — все объединялось термином «секс».

Исходя из такого принципа, конечно, нечего выкладываться, программируя вычислительную машину, если ей предстоит, скажем, писать следующие заметки:

О человеке с Ноттингхилл Гейт, который утверждает, что снизил преступность среди малолетних, показывая им диапозитивы о половом созревании.

Об оправдательном приговоре человеку, обвиняемому в том, что занимался эксгибиционизмом в каком-то парке Илинга.

О человеке с Глостер Род, который остался невредим, провалившись в люк перед Шекспировским мемориальным театром во время спектакля «Ромео и Джульетта».

О пожилом бизнесмене с Мэйда Вейл, излечившемся от артрита спустя почти ровно четыре года после посещения стриптиз-клуба.

Вычислительной машине следует написать всего-навсего: СЕКС-ЧУДО С ЖИТЕЛЕМ МЭЙФЕРА.

Были и другие упрощения, облегчавшие Голдвассеру жизнь. Занимался ли человек производством сапожного крема, торговал ли сапожным кремом, рекламировал ли сапожный крем по телевидению, организовывал ли забастовку на фабриках сапожного крема или ел сапожный крем — все равно он был просто «Мистер сапожный крем». Голдвассер с грустью и болью понимал, что для вычислительной машины он, Ноббс, Нунн и Чиддингфорд все без различия «Мистер вычислительная машина» точно так же, как и сама вычислительная машина. О керосинках и непогашенных окурках теперь не говорили долго и нудно, упоминая при этом стружку, бумажный мусор и мягкую мебель; это все была «стихия огня». Если в течение года в одном и том же городе стихия огня бушевала дважды, город называли «обреченным». Если пожар длился больше обычного, писали «эстафета огня»; если он был незначительный — «мини-пламя»; если случился в России — «огненные лыжи». Мир кишел также людьми-

загадками. Правда, никогда не было загадкой, кто именно вдохновлял на преступление. Конечно же, Мозговой трест; потому-то волна преступлений в отличие почти от всех других волн, которыми правит Британия, упорно не желала схлынуть.

Целые разделы английского языка были упразднены путем замены длинных слов короткими, соединенными через дефис. Те, кто призывает к одностороннему ядерному разоружению Англии, стали долой-бомбу — демонстрантами. Прекратим-утечку-валюты-люди приняли даешь-порядок-меры против обойди-запрет-нарушителей. Антисверхурочники тепло-и-дружественно встретились с кончай-стачку-чинами для будем-же-разумными переговоров. Несостоятельность разгрузим-часы-пик-планов насчет служба-дом-транспорта вызвала кто-виноват-бурю.

В сущности, газетный язык до того упростился, что стал абстракцией. Как математика. Имел какое-то отношение к жизни, но был далек от нее, выносил не частные суждения, а общие. Подобно тому как $2 + 2 = 4$ справедливо для двух яблок, пылесосов или французских буржуа, так и тезис «Мистер Типичный в попал-или-пропал-эстафете-загадке» справедлив для бесконечно широкого диапазона ситуаций. Чем больше думал об этом Голдвассер, тем труднее ему было представить, как опровергнуть суждение «Мистер Типичный в попал-или-пропал-эстафете-загадок», а раз никакие доводы ее не опровергали, значит, никакие и не доказывали. Вывод следовал только один: это вовсе не констатация факта, а, как $2 + 2 = 4$, четкая формула, закономерно выведенная из системы аксиом. Все это было весьма удобно для Голдвассера, поскольку ему предстояло воспроизвести эту систему в аксиоматических устройствах вычислительной машины.

Исходя из этого, он собрал достаточно обширную картотеку, чтобы приступить к фабрикованию простейших заметок. Они не были безукоризненными, но отличались отрядным единством стиля, особенно те, что имели отношение к волшебной или черной шкатулке № 1, которая, если проанализировать вырезки, появлялась обычно раз в две недели. Существовало несколько разных перестановок, но в общем все это выглядело примерно так:

ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА ВЫРУЧИТ ДОМОХОЗЯЕК СВЕРХСЕКРЕТНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ АНГЛИИ

Как стало известно вчера вечером, английские ученые изобрели волшебную шкатулку. После долгих лет исследований и поисков новое чудо-устройство было испытано при закрытых дверях.

Результаты превзошли все ожидания.

В эстафете исследований загадки принимал участие весь цвет науки. Вчера вечером специалисты окрестили волшебную шкатулку «Талисманом от всех бед». Новое чудо-устройство покончило со всеми бедами, последнюю неделю преследовавшими английские чудо-проекты.

Первой оценит преимущества «Талисмана от всех бед» Миссис Средняя Домохозяйка.

Как же он действует?

Трубы особой конструкции подают в механизм чудо-лекарство. Волшебный глаз неустанно контролирует этот процесс.

Устройство включается и выключается посредством выключателя, работающего по тому же принципу, что и простой домашний настенный выключатель.

Секретный радиоактивный датчик активируется при помощи активатора.

Но в чем же истинный секрет волшебной шкатулки?

В новом общеанглийском чудо-элементе.

Голдвассер заранее расположил карточки так, что они наглядно показывали два противоположающихся потока ключевых слов газетного языка: с одной стороны — набор самых привычных выражений типа «сделай–все–сам», «чудо–жарица», «супруг», «телевизор»; с другой стороны — экзотический набор слов, каких нигде больше не встретишь, вроде «посланец», «умерщвлять», «заревое». В итоге рождались заметки мучительно расплывчатые, как изображения, которые различаешь в облаках, — мелькания далекого, фантастического мира, знакомого и в то же время эфемерного. Допустим, что-то в таком роде:

СДЕЛАЙ–ВСЕ–САМ — ПОСЛАНЕЦ В ФУТБОЛЬНОЙ УЖАС–ЭСТАФЕТЕ

Вчера вечером проливной дождь положил конец английской чудо–жарице. Миллионы телезрителей, затаив дыхание, слушали рассказ мистера Икса, человека-загадки (Дело о сексе в снегу), о том, как он был представлен ко двору.

Мистер Игрек, повеса из Мэйфера, хорошо известен в кафе «Сисайети» и в международных кругах. По словам аппетитной брюнетки миссис Комбинашки, он является виновником того, что ее чудо-супруг отказался выполнять свой супружеский долг.

Полисмены с ищейками и пожарники с респираторами, не щадя сил сражались с мини–чудом.

После пивной оргии а ля «сладкая жизнь» неизвестный продырявил пулей голову 32-летнему секретному агенту Мистеру культурные зрелища. В шикарном ночном клубе врачи всю ночь боролись за жизнь раненого.

Но к утру смерть взяла свое.

Ведущие ученые организовали кордон вокруг обреченной зоны. Осажденные ответили на этот выпад тем, что закидали ученых бреднями и прочесали их частым гребешком с целью обнаружить макси–ужас, утерянный в двадцатиминутной мини–эстафете.

Впоследствии мини–человек помогал полиции проводить дознание.

После того как первоначальное предубеждение против такого языка рассеялось, Голдвассеру стали нравиться заметки, составленные по его программе. Они ему казались настоящими волшебными сказками современности, а туманный, неясный мир чудо–ужас–супругов превратился для него в настоящую сказочную страну, которая таится в душе каждого англичанина. Более того, заметки великолепно удовлетворяли потребности Голдвассера читать их от конца к началу, и смысл при этом нисколько не страдал.

Нунн стал работать гораздо хуже. Производительность труда по сквошу снизилась у него на двадцать процентов. Посещаемость регби упала на целых двадцать пять. Количество простецких разговоров о спорте уменьшилось почти на треть. Ему приходило в голову, что, если так пойдет и дальше, придется просить мисс Фрам, чтобы та в свободное время взяла на себя хотя бы часть его спортивных обязанностей. Если только у мисс Фрам есть свободное время. Он с тревогой спрашивал себя, есть ли оно у нее или же она не только день, но и ночь напролет корпит в приемной над... Над чем бишь там она корпит. «Если вдуматься, — грустно размышлял Нунн, — как мало знаем мы о своих ближних!».

А все беды пошли от этого Голдвассера. Нунн связался с двумя-тремя старыми дружками из службы безопасности, рассказал им о деле Голдвассера. Те заинтересовались («Крайне интересно, Нейсмит», — так они по конспиративным соображениям называли Нунна) и приставили к Голдвассеру филера.

Филер выяснил о Голдвассере кое-какие интересные подробности («Крайне интересные подробности, Нейсмит!» — как, попыхивая трубками и многозначительно морща лбы, заметили люди, которых Нунн по конспиративным соображениям называл Юргенсон и Биссель). Вся трудность была в том, чтобы осмыслить эти подробности, сложить из обрывков целостную картину.

В своем уединенном кабинете Нунн снова и снова перебирал доносы. В 16.30 в сливельник, как по конспиративным соображениям называли понедельник, Голдвассер выпил в столовой две чашки чая и съел глазированный вафлю. В вишник он дважды выходил из лаборатории, чесал в затылке и снова возвращался обратно. В последоджичек в 11.45 уехал из института и отправился к торговцу скобяными изделиями *Дж.Грумбриджу*, где, пробыв четыре минуты, приобрел дюжину полудюймовых винтов, медных, с круглой головкой, каковыми, по его утверждению, намеревался прикрепить зеркало.

Ясно, что с помощью глазированных вафель, двенадцати медных винтов и зеркала нетрудно совершить подрывные деяния. Объяснения множились в таком изобилии, что разумная оценка событий стала почти невозможной. А тут еще в ложницу Голдвассер пошел в клуб кинолюбителей смотреть пудовкинскую «Мать», потом в «Одеон» на «Тетку Чарлея», после чего сидел в индийском ресторане — заказывал бириани из кур, бхинди гошт и три пончика.

В голове у Нунна все перепуталось. Почему Голдвассер дважды чесал затылок, стоя на одном месте? Кто такая пудовкинская мать? Почему три пончика — не два, не четыре? Есть же разумный ответ на все эти вопросы. И явно существуют умыслы, где отведено место и двенадцати медным винтам, и двум почесываниям в затылке, и трем пончикам. Самая возможность разведывательной работы зиждется на том, что во Вселенной существует определенный естественный порядок вещей, а за отчетами Юргенсонов и Бисселей кроются умыслы, которые в принципе можно выявить.

Больше всего заставлял призадуматься отчет, датированный бобовником. Он гласил: ровно в 13.00 Голдвассер вышел из лаборатории, остановился в коридоре, почесал в затылке и покинул институт, а через десять минут вновь появился с туристским завтраком, каковой и проглотил у себя за письменным столом.

Почему Голдвассер столь демонстративно стоял и чесал затылок? Если нормальному человеку хочется почесать затылок, он делает это в уединении, у себя в комнате, а если уж приспичило почесаться в коридоре, старается проделать это незаметно, на ходу. И зачем Голдвассер ел туристский завтрак? И отчего именно в 13.00? Боже правый, разве 13.00 — не час

ночи? Нунн никогда не умел разбираться в часах. Но, черт возьми, он был почти уверен, что 13.00 — это час ночи! В сущности, он ни капли не сомневался, что это час ночи. Так называемый туристский завтрак, съеденный глухою ночью! Тут безусловно, есть за что ухватиться! Праведное небо, что бы это могло значить?

Нунн таращился на отчеты, голова его пухла от необозримой информации, которую оттуда можно извлечь. Он пододвинул к себе «Справочник рыболова» и вывел заглавными буквами:

ПОЛУНОЧНЫЙ ЗАВТРАК

Подчеркнул. Внизу написал уже помельче:

Скобяные товары — три пончика.

Затем вырвал листок и по конспиративным соображениям сжег его в пепельнице.

На новой странице он начал строить график зависимости суточных почесываний Голдвассером затылка от потребления глазированных вафель, а на нем отметил происшествия со скобяными товарами и с полуночным завтраком под кодовыми названиями «Морж» и «Каминная полка».

Нунн таращился на график, пока у него не потемнело в глазах. Быть может, он перепутал шифр, и понедельник — это бобовник, а ложница — пятница. Или ложница — понедельник, сливельник — вторник, а последождичек — четверг? Или он попросту перезабыл дни недели? Как они там, дьявол их за ногу? Воскресенье, сливельник, вторник, последождичек?.. Сливельник, понедельник, последождичек, бовница?.. Бовница? Что за бред? Пятник, вот его как.

Вдруг Нунна осенило. Голдвассер купил двенадцать медных винтов, чтобы повесить «Каминную полку»!

Почти тотчас же его еще раз осенило. Голдвассер купил на туристский завтрак три пончика — один для себя, второй, чтобы писать на нем донесения, третий — для моржа!

Все сходилось один к одному. Схема постепенно вырисовывалась. Нунн начал улавливать смысл загадки, которая прежде казалась самой неразрешимой из всех попадавшихся ему на его долгом пути разведчика.

Он снова взглянул на отчеты, и в голову ему сразу же пришел еще один вопрос — вопрос, который, возможно, послужит ключом к тайне. Он извлек «Дневник любителя» и в разделе, озаглавленном «Для заметок», записал:

«Спросить Бисселя и Юргенсена, кто такой Нэйсмит».

Блокнот он сунул на место, в карман, и по-стариковски засеменял искать партнера по игре в шары.

Роу стал писать роман заново. «Глава 1, — отпечатал он. — НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОЧИ».

«С террасы донесся крик. Заслоняясь рукой от полыхающих, почти осязаемых лучей полуденного средиземноморского солнца, Рик взглянул вверх.

Рик был высок, но широкие плечи создавали впечатление, будто перед нами человек среднего роста. Его можно было назвать красивым, но сам Рик этого о себе не думал. Черты его лица были почти классически правильными, но рот насмешливо кривился, наделяя скульптурное лицо одухотворяющей человечностью. В сущности, рот даже впечатлял. Белизна ровных зубов подчеркивала и без того сильный загар, а губы, твердые, но чувственные, контрастировали с носом аскета. Когда Рик щурился в полыхающих, почти осязаемых лучах полуденного солнца, его голубые глаза напоминали два аквамарина в замшевом ювелирном футляре. Мохнатые рыжевато-медные брови были приподняты, точно удивленные и шокированные соседством двух аквамаринов. Волосы, тоже рыжевато-медные, были подстрижены ежиком, тоненькие рыжевато-медные волоски блестели на руке, поднятой для защиты от полыхающих, почти осязаемых полуденных лучей.

На Рике была выцветшая голубая сорочка, вид у нее был такой, будто ее долго вымачивали в соленой воде. Сорочка была заправлена в светлые парусиновые брюки с узким кожаным ремнем. Пряжка на ремне была простая, обыкновенный медный прямоугольник, — такими затягивают ремни засаленных брюк тысячи загорелых молодых людей, коротающих время на набережных средиземноморских портов.

Что обращало на себя внимание, так это обувь. Дешевенькие поношенные тапочки из голубой парусины. Шнурки когда-то были белыми, но утратили первоначальный цвет, и на правой ноге серый шнурок стал темнее, чем на левой. Подметки были веревочные и неизвестно почему казалось, будто они перепачканы дегтем.

Заслоняясь рукой от света, Рик почувствовал шероховатость своих пальцев на загорелом лбу. Пальцы были длинные удивительно длинные и тонкие для такого рослого человека. Коротко обрезанные квадратные ногти поблескивали точно перламутр, который Рик видел, когда нырял с края острова.

Пальцы росли из крепких ладоней хорошей формы, с рыжевато-медными волосками на тыльной стороне, а плотные, жилистые запястья соединяли кисти с мускулистыми руками. Каждая ладонь заканчивалась четырьмя пальцами и отстоящим пятым, большим...»

Роу остановился. Конечно, многое еще надо сказать, прежде чем с Риком будет покончено: о количестве пуговиц на сорочке, о толщине волосков на груди, о размере обуви, о том, как застегиваются у него брюки — на пуговицы или на молнию. Но, может быть, лучше пока пропустить все это и перейти к следующему куску, а не то Роу потеряет нить повествования.

«Крик донесся с террасы, на которую глазел Рик.

Терраса, мощеная, усеянная кустами и декоративными вазами, занимала примерно полакра. Находилась она на вершине обрыва, покрытого высохшей травой, осыпью камней, карликовой бугенвиллией и флоксами; обрыв круто спускался к морю.

Внизу несколько полевых цветков боролись с сухостью почвы, отстаивая свое право на убогое существование. Эти скудные цветочные пятна дополнялись лишь несколькими жестянками из под консервов да кожурой от апельсинов, разбросанной там и сям на сером фоне гальки и темно-зеленом, почти черном фоне водорослей.

От моря вверх вилась тропинка, кружила в бугенвиллиях, то исчезая за скалой, то вновь появляясь на открытом месте. Тропинка пролегла по дну широкого оврага, который врезался в обрыв между двумя столбами скал — исполинскими фермами, которые издали казались пятнами умбры на лице утеса, но по существу были исполинскими фермами. Пейзаж напоминал лунный — нависшие скалы, нагромождение камней, сухая почва, и повсюду, куда ни кинешь взгляд, пятна бугенвиллии.

Назначение обрыва было ясно: он служил опорой террасе, откуда донесся крик...»

Роу опять остановился. Силы небесные, он едва приступил к пейзажу. Он не упомянул о том, что виднеется вдали. Он не сказал, какого цвета море. Он не назвал даже месяца, когда происходит действие, ни словом не обмолвился, куда смотрит обрыв — на север, юг, запад или восток. Он еще не пустил в ход запаса цинний, азалий, робинзоний, форсайтий, цветущих панглоссов, гиацинтий, гнилушек, львиных зевов, а ведь все это у него наготове. Но ничего. Позднее он еще вернется сюда и на досуге все насадит. А сейчас важно не потерять темпа повествования.

«...Пейзаж поблескивал в полыхающих, почти осязаемых лучах полуденного солнца.

Опять этот крик. Поглядев вверх, Рик увидел, что кричит девушка, стоящая на террасе. Нина Плешков. Даже разделявшие их четверть мили не мешали Рику видеть, что она красива. Тоненькая, с высокими острыми грудями. Волосы цвета дубленой кожи падали на загорелые плечи. В ослепительном свете солнца губы казались очень красными, а лукавые глаза под изящно очерченными темными бровями были зеленые. У девушки были нежный подбородок, задорный носик и высокие острые скулы. Юношески стройным бедрам чисто по-женски противоречила блузка, распахнутая небрежно, но широко.

Уши были маленькие, но твердые. Локти на стыках плеча и предплечья казались чуть ли не мальчишескими».

Роу снова остановился. Колени, щиколотки, пальцы рук, пальцы ног, ключицы, пупок — ничего еще не описано. Не говоря уже об одежде. Ни слова о росте, об особых приметах! Волнует она его как женщина или нет? Если ничего об этом не написать, все читатели немедленно сделают вывод, что у нее узловатые колени, или три больших пальца на руке, или пупок не на месте! Но неважно. Надо подбавить немного действия, а уж тогда, учитывая, какую массу материала предстоит еще втиснуть, будет виден конец первой главы.

Он сходил за чашкой чаю, затем отпечатал последние строчки:

«С террасы донесся крик. В прозрачном неподвижном воздухе каждый звук слышался отчетливо.

Вообще-то и в первый раз все было идеально слышно, но ведь нельзя же быстро реагировать, когда столько еще осталось объяснить, столько написать.

— Пора обедать! — крикнула Нина.

А польхающие, почти осязаемые лучи полуденного солнца продолжали палить».

— Да, — произнес Роу, но по зрелом размышлении нашел, что это звучит как-то безответственно, и выразился иначе. Да-а-а-а, — произнес он.

— Я к тому, — сказал Мак-Интош, — что в институте многие зарятся на новый корпус. Это уж точно. Говорят, целая группа — чем меньше имен, тем меньше неприятностей — собирается устроить там колоссальную оргию.

— Да, я слышал.

— Им это, конечно, так просто с рук не сойдет. Говорят, Нунн вне себя от ярости. Однако тут поневоле призадумаешься. А ведь как там можно развернуться, в новом корпусе, будь у меня время! Эх, хоть бы на недельку-другую избавиться от самаритянской программы! Говорил я вам о своей идее — запрограммировать машину на сочинение порнографических романов? Так вот, иногда я спрашиваю себя, нельзя ли составить такую программу, чтобы машины взяли на себя львиную долю сексуальных функций человека. Это сэкономило бы массу труда.

— Да, — произнес Роу. — Да.

— По крайней мере на ранних стадиях. По такому же принципу можно также запрограммировать машины на то, чтобы делали первые ходы разговора двух людей в самом начале знакомства. Это ведь стандартно, как дебюты в шахматах. Можно выбрать гамбит, потом уйти заваривать чай, а машина пусть играет; вернувшись, вы включаетесь в разговор, когда он становится интересным.

— Да, — произнес Роу.

— Сердце разрывается при мысли, что новый корпус будет простаивать зря, когда дел такая уйма. Предположим — этой идеей я обязан моему доброму другу Голдвассеру, — что все системы этики окостенели и, следовательно, все операции внутри такой системы может выполнять вычислительная машина. Я бы тогда занялся построением цепей и выяснил, что произойдет, если какая-нибудь окостеневшая система, допустим, христианская, столкнется с другой окостеневшей системой, допустим, либерально-агностической. И что произойдет, если две машины, основанные на двух разных и взаимоисключающих программах, попытаются совместно выработать третью.

Эх, Роу, Роу, Роу! Неужто вас не влечет поразмыслить о великих сферах жизни, которые давно окостенели, где вся деятельность сводится к манипуляции с конечным количеством переменных? Какая жалость, Роу, какой ужас! Эти обширные леса окаменелостей — законные наши владения. Беспомощные, они ждут, чтобы их взяли под благословенную эгиду компетентной, доброй вычислительной машины.

Возьмите область религиозных обрядов. Какой кибернетик, обзревая практику ритуалов, не возблагодарит бога за такой подарок? Когда нам предложат составить программу автоматизации культа — а лет через пять-десять так оно и будет, — мы, разумеется, выступим с рекомендацией, чтобы все службы во всех церквях страны совершала бы одна центральная машина; она же станет сочинять проповеди, логически развивая любую заданную тему в рамках, указанных англиканской или католической церковью, тогда можно будет не опасаться ереси. А лет через пятнадцать-двадцать мы примемся за программирование молитв. И темы, и эмоции их вмещаются в довольно узкий диапазон.

— Ах, — произнес Роу, — если уж говорить о молитвах, между машиной и человеком существует большая разница.

— Точно. Машина справится куда лучше. Она не станет вымаливать то, чего не следует, или отвлекаться от молебствия.

— Да-а-а-а. Но если слова произносит вычислительная машина, это совсем не то...

— Ну, не знаю. Если слова «Боже, храни королеву и министров ее» окажут хоть какое-то воздействие на правительство, не так уж важно, кто или что их произнесет, верно?

— Да-а-а, это понятно. Но если слова произносит человек, он их и подразумевает.

— Машина тоже. Во всяком случае, только чертовски сложная вычислительная машина способна произносить слова, не подразумевая их. Да и вообще, что мы подразумеваем под словом «подразумевать»? Если надо выяснить, действительно ли данная персона или машина подразумевает слова «Боже, храни королеву и министров ее», мы приглядываемся, не сопровождает ли она эти слова неискренней или иронической ухмылкой. Мы наводим справки, не состоит ли она в коммунистической партии. Следим, не передает ли она в это время записочки на предмет обеда или совокупления. Если она выдержала все эти проверки, каким еще способом установишь, подразумевается ли то, что говорится? Во всяком случае, в моем отделе все вычислительные машины молились бы с величайшей искренностью и сосредоточенностью. Преданные они, мои крошки.

— Да-а-а-а. Но вы, надо полагать, не верите в бога, способного услышать молитву и откликнуться на нее?

— Это меня не касается. Мое дело — обеспечить молебствие: добиться наивысшего качества при минимальной затрате труда.

— Но, Мак-Интош, если вы такой циник, то в чем, по-вашему, разница между человеком и вычислительной машиной?

— Не могу ответить с полной уверенностью, Роу. Я склонен отметить так называемую «душу». Думается мне, со временем мы научим машины восторгаться музыкой Баха или красотой другой машины, отличать хорошие сонеты от плохих и выражать повышенные чувства при виде Маттерхорна^[9] или заката. Речь идет вовсе не о способности к отбору; машину можно запрограммировать на отбор рациональный, иррациональный, случайный, а также на сочетание этих трех принципов, точь-в-точь как у человека. Некоторые, правда, считают, что у человека большую роль играют убеждения, вера. Но я не думаю, что это так уж важно. Скажите машине, что небо зеленое, и она вам поверит. Или можно запрограммировать ее так, чтобы она эмпирически воспринимала небо голубым, но действовала, исходя из глубокого, невысказанного убеждения, будто оно зеленое. Вдумайтесь в это, Роу! А если вы возразите, что веру машине навязали против ее воли, то вот вам машина запрограммированная на свободный выбор: она может верить своему ощущению, что небо голубое, а может, несмотря на свидетельство чувств, принять на веру, что оно зеленое, коль скоро так утверждает оператор.

— Да, возможно, — произнес Роу.

— Так вот, Роу, теперь, как люди практические, давайте признаем, что машину от человека отличает только одна полезная рабочая функция: машина выбирает лишь из конечного количества переменных, а человек сам определяет количество переменных, из которых он будет выбирать. Но дело это довольно тонкое, ибо зависит от сложности человеческого нейромеханизма. Полагаю, когда-нибудь мы создадим столь же сложную вычислительную машину, и она сама будет определять свои возможности.

— Разумеется, — произнес Роу.

— А в конечном итоге, знаете ли, отличие сведется к экономичности. Уверяю вас. На сегодняшний день для решения конечных интеллектуальных задач дешевле использовать машину, но когда-нибудь наметится предел, за которым для решения вечного вопроса о разовой работе потребуются машина до того сложная, до того специализированная, что дешевле будет использовать человека. Ей-богу, я верю, что на опушках окаменелого леса всегда останутся участки, где надо порождать оригинальные мысли, сопоставлять оригинальные идеи, видеть

новые значения и перспективы. И меня ничуть не удивит, если для разработки этих участков экономичнее будет использовать людей, а не уподобленные людям машины. Как кибернетик, я об этом, естественно, скорблю. Но как человек, признаюсь, испытываю какое-то ехидное удовлетворение от человеческого разума. Какой кошмар, Роу, какой ужас! Ужас и величие! Вы меня понимаете?

— Да, — произнес Роу, когда они встали из-за стола, чтобы вернуться из столовой в свои лаборатории. — Да. Да.

Он чувствовал утомление и в то же время подъем.

В какой ошеломляющей стране перспектив они побывали!

Окаменелые леса! Бесконечное количество переменных! Подлинно религиозные вычислительные машины! Искренность! Выбор! Сложность! И все же человек на что-то годен! Роу ощутил мощный прилив солидарности с Мак-Интошем, который составил ему компанию в этом необычайном путешествии. А в небе над бесконечными лесами и окаменелыми числами повисли светящиеся буквы — выдержки из очередной рецензии; Роу ощутил безмерное удовольствие и растроганность собственным безмерным удовольствием: в виде исключения небесный рецензент писал не о нем, а о Мак-Интоше. «Мак-Интош... изумительный слушатель... гласил обзор небесного рецензента. — ...Этот изумительный слушатель... пробуждает в Роу всю его феноменальную природную любознательность...»

Сэр Прествик Ныттинг был на проводе и вызывал Нунна. Эта истина не требовала дальнейших доказательств.

— С вами будет говорить сэр Прествик Ныттинг, мистер Нунн, — сказала мисс Фрам в приемной.

— Мистер Нунн? — сказала секретарша сэра Прествика. — С вами будет говорить сэр Прествик Ныттинг, мистер Нунн.

— Нунн? — тревожно осведомился сэр Прествик. — Нунн? Это вы, Нунн?

— Доброе утро, сэр Прествик, — сказал Нунн.

— Это Нунн у телефона?

— Собственной персоной, сэр Прествик.

— Ага. Так вот, послушайте, это Ныттинг говорит.

— Приветствую, сэр Прествик.

— Доброе утро, Нунн.

Наступила пауза: оба собеседника собирались с силами после первого шока и пытались сообразить, кто же кому звонит и с какой целью. Непосвященного эта пауза ввела бы в заблуждение. Во всяком случае, она ввела в заблуждение телефонистку Объединенной телестудии — абонентов разъединили.

Минут через пять телефон Нунна зазвонил снова.

— С вами будет говорить сэр Прествик Ныттинг, мистер Нунн, — сказала секретарша сэра Прествика.

— С вами будет говорить сэр Прествик Ныттинг, мистер Нунн, — сказала мисс Фрам.

— Нунн? — подозрительно выпрашивал сэр Прествик. Нунн? Нунн? Это Нунн? Кто у телефона? Нунн? Нунн?

— Слушаю вас, сэр Прествик.

— Это опять Ныттинг, Нунн. Нунн, что случилось? Что-то случилось. Я вас не слышал. Нас прервали?

— Должно быть.

— А вы, Нунн, вы меня слышали?

— Ни словечка, сэр Прествик.

— Значит, вы пропустили мои слова о том, что Ротемир страшно обеспокоен?

— Да.

— Слыхали?

— Нет, пропустил.

— Ну, так слушайте, я повторю все сначала. Ротемир страшно обеспокоен.

— Грустно слышать.

— Да. Ну, обеспокоен, знаете ли, возможными последствиями. Как я вам уже объяснял — только, может, вы не слышали, — он никоим образом не желает посягать на традиционные академические свободы института. Он считает — и я с ним, конечно, полностью согласен, — что они нерушимы. Абсолютно нерушимы.

— Ценю ваши чувства, сэр Прествик.

— Но надо же помнить о возможных последствиях. Вы улавливаете мою мысль?

— Да, вполне.

— Я выражаюсь ясно?

— Да, предельно, сэр Прествик.

— Значит, мы друг друга понимаем?

— По-моему, да.

— Не обижаетесь?

— Отнюдь.

— Вам долго разжевывать не нужно, а, Нунн?

— Никогда, сэр Прествик.

— Ну значит, мы с вами поладим. Надеюсь, вы не находите, что я веду себя, как надутая старая дева, Нунн. Вы ведь знаете как оно бывает. Ротемир взвился до потолка. Винит меня в том, что я сам ничего не знал и ему не сообщил, и я теперь в неловком положении. Он говорит, что не понимает, для чего я торчу в правлении, если ему самому приходится собирать сплетни на званых вечерах, выясняя, куда уходят его деньги. Разумеется, по-своему он прав, его можно понять.

— Собирать сплетни на званых вечерах?

— Да, о последней заварухе он прослышал на каком-то званом вечере. Так он и узнал. Особенно обидно, что в Би-Би-Си кто-то осведомлен о делах Объединенной телестудии лучше, чем сам Ротемир.

— Понимаю.

— Само собой, он взбесился.

— Само собой.

— По-моему, законно.

— Да, вполне.

— Нас беспокоят только последствия, Нунн.

— Именно.

— Я к тому, что лично мы не против, чтобы машины отправляли церковные службы...

— Машины отправляли церковные службы?

— Неужели вы вообще ничего не слышали из того, что я говорил?

— По крайней мере, насчет машин, отправляющих церковные службы, ничего.

— Так ведь это-то и обеспокоило Ротемира. Ваши, очевидно, собираются установить такие машины в новом корпусе отдела этики.

— Разве?

— Да, по словам этой дамы из Би-Би-Си. Она говорит, вы там намерены заставить машины молиться...

— Молиться? Машины — молиться? До чего только не дойдут эти заумные чудаки!

— Она говорит, вы заставите машины причащать и выслушивать исповедь.

— Правда? Что ж, я этим займусь тотчас же, сэр Прествик.

— Я к тому, что нас беспокоят только последствия.

— Устраним, сэр Прествик. Положитесь на меня.

— В нашей области приходится проявлять особую осторожность насчет всяческих последствий.

— Конечно, конечно.

— Надо полагать, это опять штучки вашего Мак-Интоша. Не из числа здравомыслящих этот Мак-Интош, да будет мне позволено заметить.

— Вот тут вы, по-моему ошибаетесь. Мак-Интош довольно-таки здравомыслящий.

— Он-то? Здравомыслящий?

— Вполне здравомыслящий.

— Да, пожалуй, могу сказать, на вид он достаточно здравомыслящий.

— Между нами, сэр Прествик, у меня есть веские основания подозревать, что виновником

окажется Голдвассер.

— Голдвассер, вот как?

— Боюсь, он прирожденный смутьян.

— Должен признаться, мне он всегда был не по душе. Есть в нем что-то отталкивающее.

— Он, боюсь, непорядочный человек.

— Совсем непорядочный.

— Вы не беспокойтесь, сэр Прествик. Я уж постараюсь раскусить Голдвассера.

— По рукам. Вы расслышали, как я передавал лучшие пожелания вашей славной супруге?

— Откровенно говоря, нет.

— В таком случае, лучшие пожелания вашей славной супруге.

— Это мистер Голдвассер, ваше величество, — сказала Ребус, когда Ноббс стал пожимать руку Хоу.

— Нет-нет-нет, — с надрывающим душу терпением объяснила миссис Плашков. — Это не Голдвассер, Ребус. Это Ребус.

— Ради всего святого, — ощерилась Ребус. — Как же так? Ведь Ребус это Голдвассер.

— Но, милая Ребус, вы забываете, что Ребус — это Плашков.

Все стояли в коридоре, мечая друг на друга злые взгляды, или обреченно подпирали стенки, тупо уставясь в пол. Сотрудники института устали и были раздражены. Целую неделю они околачивались в коридорах (репетировали торжественное открытие), и теперь все страдали от тупой сдавленной боли в животе, которая всегда появляется, если долго стоишь на ногах, толком не зная, что надо делать.

Общие усилия были направлены на то, чтобы хронометрировать визит по частям, поскольку координационный комитет дал понять подкомитету хронометража, что такие события надо репетировать с точностью до одной секунды. Задача была не из легких. Ножницы «Балморал», усыпанный самоцветами выключатель, золотая газовая свеча и прочее оборудование из фирмы «Имперские товары для церемоний» еще не пришли, да и в самом корпусе, который предстояло открыть, не было пока никакой аппаратуры. Пришлось заменить недостающие звенья более или менее удовлетворительными эрзацами и приближениями; точно так же пришлось заменить всех высоких гостей, чьи руки надо будет пожимать в знаменательный день, и одного-двух человек из начальства вроде Нунна и Мак-Интоша; их авторитет был слишком велик, и раз уж они заявили, что слишком заняты и присутствовать не могут, пререкался с ними никто не решился. Поэтому на репетициях Роу стал Пошлаком, Ребус — Нунном, а Голдвассер — Мак-Интошем и, значит, Плашков пришлось стать Ребус, а Хоу Голдвассером, а... или это Роу стал Голдвассером?

Всем было ясно только одно: роль самого дефицитного действующего лица — королевы — исполняет Ноббс. Ноббс не был идеальным заменителем монархини, да и особо покладистым не был, но когда Объединенный комитет дублеров призвал начальников отделов выделить кого-нибудь на эту роль, никто и глазом моргнуть не успел, как Голдвассер уже выделил Ноббса.

Теперь Голдвассер уже раскаивался в своем широком жесте. Хватит и того, что Ноббс день-деньской крутится в лаборатории, что этот сутулый мешок нескладных костей вечно путается под ногами, бедрами задевает мебель и сдвигает столы с мест. Но изо дня в день снова и снова пожимать вялую руку Ноббса да еще величать его «государыня» — это уж слишком. От репетиции к репетиции необычайная вялость Ноббсовой руки занимала Голдвассера все больше и больше. Насколько он мог судить, вялость была не совсем природная. Ноббс культивировал вялость руки при рукопожатии, где-то вычитал, что крепкая хватка, которую он напускал на себя в мальчишестве, чтобы создать впечатление твердого характера, — всего лишь аффектация, напущенная, чтобы создать впечатление твердого характера. Но ведь и бороду Ноббс отрастил просто потому, что раз, по общему убеждению, бороду носят лишь мужчины с безвольными подбородками, значит ни один человек с безвольным подбородком бороды не отпустит — иначе все заподозрят, будто у него безвольный подбородок; отсюда следует, что у бородачей подбородки волевые; вот потому-то Ноббс отрастил бороду, скрывавшую его безвольный подбородок. Во всяком случае, так рассудил Голдвассер. Вообще было в Ноббсе что-то двуличное... Вернее, не столько двуличное, сколько трехличное, причем одно лицо следило за двумя другими.

— Давайте повторим с самого начала, — сказала миссис Плашков. — Всех попрошу в исходную позицию.

Раздался стон изнеможения. Голдвассер почувствовал, как его наболевшие кишки проваливаются куда-то в тартарары.

— Джелликоу, — обратилась миссис Плашков к швейцару, пока все выстраивались на улице перед входом, — хоть на этот раз не хлопайте дверцей автомобиля, прежде чем Ноббс не отойдет от нее на безопасное расстояние. Запомните, вам дается семь секунд на то, чтобы она-он-Ноббс сошел на тротуар. Ну, готовы? Начнем с... Давайте.

Джелликоу выступил вперед и открыл воображаемую дверцу. Ноббс выкарабкался из воображаемого автомобиля.

— Спокойнее, Ноббс, — предупредила миссис Плашков.

— Добрый день, — сказал Чиддингфолд и провел Ноббса вдоль почетного караула, укомплектованного из лаборантов.

— Стоп! — воскликнула миссис Плашков.

Раздался повальный вздох. Джелликоу извлек карманное зеркальце и принялся обзирать свои усы. Ноббс присел на край тротуара. Голдвассер все норовил перенести хотя бы часть собственного веса на узенький декоративный выступ здания. Он-то знал чем обусловлена пауза. Стихийно началось очередное чрезвычайное заседание комитета неофициальной беседы. Наверняка обсуждают, не должен ли Чиддингфолд вернуть в приветствие какую-нибудь светскую реплику. Одна фракция ратовала за то, чтобы директор высказался о погоде. Другая считала, что замечания о погоде не поддаются хронометражу, ибо невозможно предугадать оставшееся время до знаменательного дня, и лучше остановиться на реплике по поводу королевского автомобиля. Большинство склонялось в пользу вопроса: «Сколько миль проходит машина на одном галлоне бензина, государыня?» Но комитет неизменно наткнулся на одно и то же препятствие — доложить об этом Чиддингфолду было невозможно — и голосовал за то, чтобы отсрочить решение до следующего заседания. Голдвассер безнадежно уставился себе под ноги, на клочок земли площадью примерно с квадратный фут.

— Продолжим, пожалуйста, — крикнула миссис Плашков. — С того, на чем мы остановились.

Ноббс заковылял по тротуару к почетному караулу лаборантов.

— Смир-рна! — взревел старший лаборант. — Линейки на пле-чо!

— Вверх, два, три, — командовала миссис Плашков. Вниз, два, три. Неслаженно, очень неслаженно.

Ноббс неуклюже протрусил вдоль строя, умудрясь наступить на ногу правофланговому и выбить из рук одного лаборанта логарифмическую линейку.

— Спокойно, Ноббс, — сказала миссис Плашков.

— Движки на взвод! — взревел старший лаборант.

— Недорасход трех секунд, — заметила миссис Плашков, срезаете углы, Ноббс.

Ноббс протопал к подножию лестницы, принял букет от малолетней дочки Чиддингфолда (ее изображала мисс Фрам) и ворвался в коридор, к сотрудникам и гостям.

— Стоп! — вскричала миссис Плашков. — Титулаторный комитет, попрошу ко мне!

Голдвассер бессильно привалился к стенке. Титулаторный комитет лежал целиком и полностью на его совести. Как-то в озорную минуту Голдвассера угораздило съязвить насчет того, что называть Ноббса «ваше величество», мягко говоря, пахнет мятежом, а через два дня этот вопрос уже горячо обсуждали во всех тридцати семи комитетах. Почти все согласились, что деяние и впрямь отдает мятежным духом и что упорствовать в этом означает подвергать институт опасности судебного преследования или шантажа. Но тут возник

практический вопрос: как же именовать Ноббса, если не «ваше величество»? В одном все были единодушны: смешно, если люди будут склоняться перед ним в поклонах и реверансах и в то же время называть его просто «Ноббс». Не успел Голдвассер согнать с лица улыбку после той злополучной шутки, как уже был учрежден титулатурный комитет для составления формулы, в которой почтительность сочеталась бы с неким соответствием реальному положению Ноббса в жизни. Вот что пока произвели на свет всевозможные рабочие комиссии и подготовительные группы:

Ваше смирение ваше раболепие ваша посредственность ваше человечество ваша анонимность ваше полномочие ваша бородатость ваше сНоббство ваше старшее научное сотрудничество.

Как и предвидел Голдвассер, решение опять-таки пришлось отложить до лучших времен.

— Продолжим с того, на чем остановились, — прогремела миссис Плашков. Сегодня по-прежнему называем Ноббса «ваше величество». Разрешите еще раз напомнить, что каждый должен проявлять тактичность и не трубить об этом на всех перекрестках.

Последовали рукопожатия (по пяти секунд на руку), затем приступили к обходу учреждения (со скоростью два фута в секунду). Типичный отдел. Знакомство с типичным научным сотрудником (первого класса) и осмотр типичной вычислительной машины (12 секунд). Типичный вопрос о вычислительной машине (допустим, пять секунд). Типичный ответ (15 секунд). Словесная оценка проделанной работы (допустим, 4 секунды).

Опять по коридору, со скоростью два фута в секунду, вверх по лестнице (две секунды на ступеньку), и следующий отдел. Знакомство с типичным научным сотрудником (второго класса) и типичный бытовой вопрос (допустим 10 секунд). Типичный скромный ответ (1 секунда). Реплика насчет того, как красив вид из окна (допустим, 5 секунд). Разъяснение заместителя директора о том, насколько повезло институту в этом отношении (31 секунда). Корректная шутка (3 секунды). Смех (26 секунд). Общее восхищение простотой и обаянием Ноббса (4 секунды). Выход: нескладный Ноббс бедром таранит стол, грохает на пол три папки, склянку чернил и 140 листов какой-то рукописи самого большого формата. Шквал взаимных попреков (20 минут).

К вечеру Голдвассер ходил как во сне. На какой-то миг его разбудил сильный удар оконным карнизом в висок: карниз изображал золотую газовую свечу, которой предстояло зажечь неугасимый огонь — вечную память о жертвах луддитских бунтов. Потом Голдвассер вдруг почувствовал, что в его руку властно втискивается чужая, вялая рука и знакомый голос говорит: «Баю-бай, агусеньки, брат». А еще был светлый промежуток восхитительного отдыха на стуле — это когда комитет особого назначения собрался, чтобы еще раз обсудить, нужно ли предоставить Ноббсу время попудрить нос.

Потом все перебрались в новый корпус, и Роу, исполняя роль Мак-Интоша, показывал Ноббсу установленное там оборудование: несколько столов и какое-то количество стульев. Последним, что слышал Голдвассер, был голос Роу, читавшего по бумажке:

— А вот это, государыня, стол. Состоит в основном из горизонтальной прямоугольной плоской поверхности и четырех вертикальных столбчатых опор, так называемых ножек. В нашей лаборатории, государыня, столы по своей конструкции не уступают стандартам любой страны мира.

Вот так-то и случилось, что, пока все стоя внимали государственному гимну, Голдвассер вдруг очутился на полу, растянувшись ничком в весьма фривольной позе. Нунн, с почтительного расстояния обеспечивающий безопасность во всех ее аспектах, ни капельки не

удивился. Дело о Голдвассере было уже начато и закончено; в знаменательный день Голдвассеру не удастся продемонстрировать свое отношение к государственному гимну.

Куда сильнее тревожили Нунна Ноббсовы бедра. Чем больше он любовался на них в действии, тем меньше они ему нравились. Не секретное ли это оружие в руках Голдвассера? Не похоже было, чтоб они служили самому Ноббсу. Нунн внимательно следил, как они сшибают предметы с письменных столов и ломают стулья, что попадают на дороге. По всей видимости, они осуществляют свою диверсионно-вредительскую программу совершенно независимо от Ноббса.

Не исключено, конечно, что Ноббсовы бедра — бессознательные агенты Голдвассера. Возможно, Ноббс, сам того не подозревая, подвергся у Голдвассера промыванию мозгов. Но ведь то же самое могло произойти с каждым из присутствующих. Такие случаи известны. Специалисты службы безопасности знают, чего в наши дни добиваются промыванием мозгов. Вдруг, чего доброго, и сам Нунн подвергся промыванию мозгов. С тем же успехом и он, сам того не подозревая, стал агентом Голдвассера. Что, если вся его кампания против Голдвассера — результат постгипнотического внушения и продиктована самим Голдвассером? В самом деле, даже догадка, что он, вероятно, исполняет приказы Голдвассера (хотя сам Голдвассер отдыхает со всеми удобствами на полу), может быть, не что иное, как нужная Голдвассеру реакция.

Как только покончили с гимном, Нунн удалился к себе в кабинет и там долгое время вдумчиво созерцал любимую клюшку для гольфа. Ввязался он в крупную игру, а в крупной игре надо все время быть начеку да ждать благоприятного случая. Он вздремнул, чтобы восстановить ясность ума, и, когда репетиция уже кончилась, проснулся вполне освеженный, услышав, как директор тяжело плюхнулся в кресло у себя в кабинете, смежном с кабинетом Нунна. Когда Нунн зашел к директору, тот выглядел поразительно старым и усталым; Нунн убил чуть ли не час, пытаясь развлечь Чиддингфолда подробным пересказом историй болезни всех бегунов, павших мертвыми во время марафонского бега.

В конце концов Мак-Интош в глубине души признал, что схема этического поведения у «Самаритянина-2» неудовлетворительна, он не желает бросаться за борт ради спасения мешка с песком и в итоге тонет вместе с этим мешком. Мак-Интош разработал «Самаритянина-3» — этот не только не жертвовал собой ради менее сложного организма, но и удерживал плот на плаву, спихивая менее сложный организм за борт.

— Смотрите-ка! — воззвал он к Голдвассеру, потрясенный делом своих рук: оба они наблюдали, как «Самаритянин-3» безжалостно сталкивает в воду сперва мешок с песком, а затем овцу. — Ужасное зрелище, Голдвассер, величественное и ужасное. В нем заключены весь драматизм и вся грандиозность человеческой борьбы за существование. А ведь тот же самый «Самаритянин-3», сталкиваясь с человеком в лице Синсона, без колебаний бросается в воду. Наверно, здесь можно провести аналогию с интуитивным представлением человека о божестве. Без сомнения, перед нами упрощенная, но в общих чертах точная модель поведения этического и в то же время оптимального.

Голдвассер вздохнул. Если и было что-нибудь более противное его натуре, чем вера в умственное превосходство макинтоша, то это была лишь уверенность в своем умственном превосходстве над Мак-Интошем.

— Попробуйте усадить на одном плоту двух «Самаритян-3», — посоветовал он мрачно.

Мак-Интош усадил на одном плоту двух «Самаритян-3», и в результате ему опять пришлось занять оборонительную позицию. Поначалу, когда оба «Самаритянина-3» дружно бултыхались в воду, он пытался доказать, что все идет в полном соответствии со здравым смыслом и естественной справедливостью.

— В их решимости погибнуть вдвоем есть какое-то благородство, напоминающее высшую этику романтической трагедии. У меня из головы не выходят Ромео и Джульетта.

Голдвассер нервно потирал подбородок и упорно избегал встречаться взглядом с Мак-Интошем, чем здорово поколебал весомость его аргументов. Мак-Интош ввел в механизм «Самаритян» мелкое конструктивное новшество, и теперь, вместо того чтобы самим кидаться за борт, они скидывали друг друга. Он пригласил Голдвассера полюбоваться, как два этических автомата, схватившись не на жизнь, а на смерть, топят друг друга в воде.

— Вот, — сказал Мак-Интош, — перед нами вся ничтожность и весь трагизм человеческого бытия; его неумолимая логика заставляет людей бороться за жизнь с себе подобными, пусть даже эта борьба грозит истребить весь род человеческий.

— Похоже на первую мировую войну, — вставил Голдвассер.

— Именно.

— Или на обезьянью ловушку.

— На обезьянью ловушку?

— На бутылку с бананом внутри. Обезьяна просовывает руку и хватается банан, но тогда уже не может вытащить кулак из бутылки. Движимая неумолимым инстинктом, который запрещает ей отдавать пищу, обезьяна остается прикованной к бутылке и дохнет с голоду.

Мак-Интош позволил себе обидеться на сравнение. Время от времени он разрешал себе обижаться, когда ему казалось, что в своей разгромной критике Голдвассер переходит допустимую грань: он верил, будто в небольших дозах его обида Голдвассеру на пользу. Он перестал с ним разговаривать и по обычным каналам провел анонимное предложение — назначить Голдвассера председателем комитета по эксплуатации нового корпуса.

Назначение это кочевало взад-вперед по административным маршрутам и, хоть не сразу,

достигло Голдвассера. Прослышав о нем, он тотчас же поспешил в лабораторию Мак-Интоша поделиться новостью.

В отделе этики переполох был еще более страшный, чем обычно. Голдвассер еще на дворе услышал шум, словно бушевала запертая в ванной толпа футбольных болельщиков. Распахнув дверь, Голдвассер понял, в чем дело. Испытательный резервуар со всех сторон окружали орущие зрители. Тут были не только сотрудники отдела, но и институтский садовник, и кое-кто из уборщиц, и многие секретарши, и юные лаборанты из других отделов. Пока Голдвассер расталкивал их локтями, пытаясь пробиться и посмотреть, отчего они так орут, ему пришло в голову, что многие из тех, кто отпихивает его с такой безличной грубостью, вообще не имеют никакого отношения к институту.

— Что здесь творится? — спросил он молодого человека, по фамилии Скелет, младшего техника его же отдела.

— А, здорово, — отозвался скелет. — Это все «Самаритяне-4».

— Задай ему перцу, малыш! — крикнул рядом с Голдвассером какой-то потасканный коротышка. — Не жалея его, малыш! Чего же ты ждешь, парень?

— Навались! — взревел за спиной Голдвассера некто в расстегнутой серой шинели с болтающимся ремнем. — Задави его! Растопчи!

Когда Голдвассер протолкался к резервуару, толпа уже затихла, точно убаюканная. В воде ходуном ходил, то появляясь, то исчезая, один из испытательных плотов, а на нем восседал робот «Самаритянин-4».

Внезапно Голдвассер различил в воде возле плота барахтающийся предмет. На поверхности ненадолго появились два диска вариометров, и в течение какой-то секунды бессмысленно тарацились на толпу. Это был другой «Самаритянин-4».

— Какого дьявола? — шепотом осведомился Голдвассер у видавшего виды коротышки.

— Ему как, — ответил коротышка. — Судья должен прекратить бой.

Но как раз в этот миг «Самаритянин», что был за бортом, вскарабкался на плот и ухватил своего собрата за опорную пластину. Толпа взвыла. Хозяин плота принялся лупить новоявленного пассажира по дискам. Каждый удар сопровождался треском или звоном, и с каждым новым ударом толпа ярилась все пуще.

— Полюбуйтесь! — рыкнул человек в шинели. — Научный подход к борьбе!

Где-то прозвучал гонг, лаборант на портале перегнулся с багром в руках и разнял этические автоматы. Подплывшие на яликах рабочие отбуксировали их в противоположные концы резервуара и принялись орудовать отвертками и гаечными ключами. Голдвассер заметил, что у одного автомата из батареи течет кислота.

— Ставлю шесть против четырех за мальчика в синем углу! крикнул какой-то человек на другом краю резервуара и мелом вывел предложенное соотношение на доске. — Три против одного, что нокаута не будет! Ну же, решайтесь, джентльмены. Где ваш азарт?

Голдвассер увидел, что Мак-Интош ставит два фунта на фаворита.

— Может, это и не по правилам, — сказал Мак-Интош, чтоб устроитель боя держал пари насчет результатов этого боя. Но, по-моему, в таком этическом конфликте, как нынешний, это вполне возможно. Понимаете? Я думаю, перед нами характерная этическая ситуация с ее ничтожеством и трагизмом. Надеюсь, я устранил возражения, которые выдвигались против прежних систем?

— Послушайте, Мак-Интош, — сказал Голдвассер. — Меня назначили председателем комитета по эксплуатации нового корпуса этики.

— Поздравляю, — ответил Мак-Интош.

— Да нет же, это ведь не моя идея.

- Все равно чертовски приятное назначение.
- Послушайте, я не хочу перебегать вам дорогу.
- Уверяю вас, меня оно радует.
- Вы серьезно?
- Конечно. Вы же знаете, что я не желаю этим заниматься.
- Да. Ну и я тоже не желаю. То есть я хочу сказать, что у меня и без того дел по горло.
- Тем не менее вас, вероятно, гнетет какой-то долг, не правда ли, Голдвассер?
- Меня?
- Мне представляется, что элементарный самоанализ напомнит вам о существовании какого-то обязательства.

Раздался гонг, извещающий новый раунд. Голдвассер стал хмуро пробираться к выходу, раздвигая незнакомые плечи и тыча локтями в чужие животы, и со всего размаху наступил на чью-то ногу в парусиновой туфле.

— Очень здорово, — мужественно хмыкнул обладатель ноги и сжал руку Голдвассера. Это был Нунн, ставивший пятерку фунтов за автомат в красном углу. Он задумчиво проводил Голдвассера взглядом, ломая себе голову, кто же мог назначить его главой такого тонкого в политическом отношении инструмента, как комитет по эксплуатации нового корпуса этики. Учитывая сложнейшую организационную структуру института, ломать голову было бесполезно. Вообще-то диву даешься, почему не Мак-Интошу поручили ставить опыты в новом корпусе. В конце концов он же начальник отдела. Однако это его по-видимому не касается. Странно. Быть может, ему не доверяют, ибо располагают компрометирующим материалом. Маловероятно — Мак-Интош ведь человек благонадежный. Но все же кто его знает. Работник безопасности не может ручаться ни за кого. Только за самого себя.

После того как пятерка пошла коту под хвост, Нунн удалился к себе в кабинет, чтобы все тщательно обдумать в окружении клюшек для гольфа, хоккейных шайб, боксерских груш, ботинок на шипах и кожаных шапочек для регби — они как плотина ограждали его от постепенного просачивания Голдвассера во все закоулки мироздания. В эти свои игрушки он закутался точно в одеяло. Он один в поле воин, он притаился в горных высях своей неприступной крепости, он дождетя момента, когда железо будет горячо, а будет железо горячо — хоп! — он тигром выскочит из засады и покажет всем класс игры. Пробьет его час, и в этот час Нунн будет грозен.

— Очень здорово, — поведал он клюшкам и битам.

Роу принялся за вторую главу, но, желая подчеркнуть, что он отказался от устаревшего стиля главы первой, дал роману новое название «Стеклянные черепа»^[10].

«Когда Рик и Нина, — печатал он, — присоединились к остальным на террасе под сенью развесистого винного дерева, атмосфера уже явно накалилась. Хозяин — несметно богатый нефтяной магнат по фамилии Фиддингчайльд — был мрачнее тучи. Его любовница Анна Ребс, прелестная пышная смуглянка, нетерпеливо постукивала огромным изумрудом кольца по бокалу с коктейлем, глядя на повесу — грека Ставроса Нунополоса, который развалился в соломенном кресле и отпускал дурацкие шуточки, еще более отточенные, чем всегда.

С одного взгляда на Нунополоса Рик проникся почти полной уверенностью, что Анна изо всех сил презирает Фиддингчайлда за то, что тот не способен понять его, Нунополоса, побудительных мотивов. Анна знала, что Нунополос догадывается об ее отношении к Фиддингчайлду, и знала, что Нина знает, что она знает о догадках Нунополоса... А если Нина знает, то можно считать, что по многозначительному взгляду, который Нина бросила на Рика, Фиддингчайлд догадается, что Нунополос предполагает в Анне эмоции, которые могут быть вызваны лишь его, Фиддингчайлда, недостаточной тонкостью по сравнению с Нунополосом.

Все это Рик ясно прочел в глазах Анны.

Лишь секундой позже до него дошло, что депрессия Фиддингчайлда вызвана не интуитивной догадкой, что Нунополос догадывается о чувстве Анны, а пониманием (основанным на абсолютной бессмысленности отточенных шуток Нунополоса) того, как безмерно забавляет Нунополоса недогадливость Фиддингчайлда: тому невдомек, чем он заслужил презрение Анны, которая своим видом безжалостно напомнила ему о том взгляде Нины.

Рик посмотрел на Нину. На ее лице можно было прочесть охватившие ее чувства. Прежде всего она завидовала Анне, которая окольными путями пришла к цели, вызвав в Фиддингчайлде такое бурное ответное чувство. Но примитивная зависть окрашивалась примесью *Shedenfreude*^[11] при мысли о том, какое смятение ждет Фиддингчайлда, когда он полностью разберется в чувствах Анны. К этому примешивались также проблески искреннего сочувствия Анне как женщине, обуреваемой теми же страстями, что и она сама. Но главное — ее захлестнуло чувство явного облегчения, ибо наконец-то все было выведено на чистую воду».

Роу сделал передышку и мысленно проанализировал описываемую сцену. Поднимет ли Фиддингчайлд потупленные глаза на срок достаточно долгий, чтобы сообразить, что отеческая заботливость, с какой Рик подает Нине рюмку водки, вызвана чисто детской непосредственностью, которая выражается в реакции Нины на реакцию Анны, что заметно по складкам в уголках ее губ? Или он (избави боже!) решит, что выражение лица Рика просто результат легкого приступа изжоги? Нельзя же быть до такой степени слепым. Однако, судя по тому, что его стремление выявить причину презрения Анны зашло в тупик, этот человек того и гляди превратится в законченного кретина. Роу представил себе рецензии: «Грубая карикатура на скотскую тупость — травести человеческого разума». Скорее за диалог!

«— Ходили к морю вдвоем? — спросил вдруг Нунополос, глядя на Рика с Ниной. Вопрос был задан достаточно небрежно, и все же по тому, как Нунополос обвинил свою рюмку мизинцем, Рик понял, что по существу этим вопросом Нунополос отрицает право Рика интересоваться побуждениями Нины, пока он, Нунополос, на пару с Фиддингчайлдом занят бесплодным взаимным анализом побуждений.

— Да, — ответил Рик, и это было непростое «да», а категорическое отрицание права

Нунополоса что-то отрицать, опасное утверждение своего права думать и действовать с предельной непосредственностью. Рик видел, что Нунополос понял это мгновенно. Он покосился на Анну и увидел, что она сознает, что Нунополос это понял. Краешком глаза он заметил, что Нина чуть ли не против своей воли уловила реакцию Анны на Нунополоса. Он оглянулся, чтобы посмотреть, как Фиддингчайлд воспринял выражение лица Нины. Но Фиддингчайлд давно заснул.»

Вздвогнув, Роу очнулся от одолевающей его сонливости. Случилось нечто ужасное. Что именно? Он быстро перечитал последние два абзаца. Фиддингчайлд заснул! Праведный боже, откуда только взялся этот кретин? Как может человек, в венах которого течет красная кровь, заснуть в такую минуту, когда есть и побуждения, и побуждения побуждений — их надо проинтуировать, и реакции, и реакции на реакции — их надо пронаблюдать?

Роу разбудил Фиддингчайлда, но его тут же кольнули угрызения совести. Быть может, этот человек все-таки вправе вздремнуть и набраться свежих сил? Безотказной восприимчивости Нины, Анны, Рика и Нунополоса хватит на то, чтобы все они сидели за рюмкой водки в руках и щеголяли друг перед другом интуицией сквозь весь сюжет, не пошевелив и пальцем и не проронив ни слова. Одно заседание, растянувшееся на сутки без перерывов, — можно считать, что автор как нельзя более толково распорядился героями.

Внезапно распахнулась дверь лаборатории, и на пороге, прислонясь к косяку, возник Голдвассер. Роу посмотрел на него рассеянно. В выражении лица Голдвассера было нечто такое, что, казалось, требовало ответной реакции, — какая-то странность во взгляде.

— В чем дело? — нетерпеливо спросил Роу.

— А как по вашему? — ответил Голдвассер.

— Да не знаю я.

— Будет вам, Роу.

— Понятия не имею. Пришли попросить сигарету?

— Вы же знаете, что я не курю, Роу.

— Значит, насчет того, как я проголосовал о закрытии прилегающих улиц на время торжественного открытия?

— Нет.

— Умоляю, Голдвассер. Я же не ясновидец.

— Обеденный перерыв, Роу. Я просто подумал, может, пообедаем вместе?

— А-а! — сказал Роу. — Попозже. Я занят.

Станет он отгадывать такую чепуху! На чем он остановился? Ах да: надо показать, что Фиддингчайлд не такое уж слабоумное ничтожество.

«Фиддингчайлд посмотрел на Рика снизу вверх. В мгновение ока понял он, что означали знаки, которые делала ему Нина относительно Нунополоса: Нунополос осознал, что Анна презирает Фиддингчайлда за неспособность понять, почему Нунополос с такой явной неохотой выпил рюмку водки. Фиддингчайлд загадочно приподнял бровь. Вся компания мгновенно уловила суть. Контрапункт интуиции увял, и Фиддингчайлд понял, что они поняли, что он понимает, что они понимают, что... пора обедать».

Если разобраться, должность председателя комитета по эксплуатации нового корпуса доставляла Голдвассеру удовольствие. Газеты обрыдли ему до тошноты, и как же приятно было рвать их в клочья и делать из клочьев папье-маше, а уж из этой массы плюс картон, фанера, проволока, просмоленная бечевка и разношерстные электронные детали, позаимствованные в других отделах, он вместе с бригадой рабочих из декоративной мастерской монтировал бутафорское оборудование для бутафорских опытов в новом корпусе отдела этики.

Спору нет, занятие было веселое. Они устанавливали всевозможные машины — самоосвещающиеся, жужжащие, тикающие машины и машины, создающие многоцветные эффекты северного сияния в газоразрядных лампах. Устанавливали сотни всяческих «ографов», клетки с хомяками и белыми крысами, батареи осциллоскопов, свинцовые экраны защиты от излучения и операционный стол. Когда они кончили, бутафорская лаборатория походила на лабораторию гораздо больше, чем настоящая.

Гордостью реквизита была «машина этических решений», которую Голдвассер построил специально для демонстрирования. Назвал он ее «Дельфийская Пифия-1». Это был здоровенный пульт из серой стали с телепечатающей клавиатурой и набором градуированных дисков. Когда на клавиатуре набирали моральную дилемму, диски указывали глубину, ширину и интенсивность протекающих процессов, замеренных соответственно в павлах, кальвинах и моисеях, а телепринтер печатал машинное решение.

Можно было, например, спросить: «Должен ли человек ценить красоту превыше добра?».

Машина тогда бы ответила: «Истинная красота должна быть доброй; истинное добро должно быть прекрасным».

К тому же Голдвассер научил машину присовокуплять: «Ваше величество».

В последний вечер перед генеральной репетицией Голдвассер по собственной инициативе допоздна засиделся в новом корпусе — доводил «ографы» до кондиции, устраивал на ночь белых мышей. Только он собрался выключить свет и уйти, как его взгляд скользнул по «Пифии-1», Голдвассер вернулся и стал ее глубокомысленно созерцать. Ему казалось, что во многом она — гораздо более солидное и убедительное достижение, чем все его, Голдвассера, печальные схватки в родном отделе с вопросником по убийствам и с парализованной девушкой.

Он улыбнулся машине, погладил ее, и на какую-то секунду ему даже почудилось, будто машина в ответ замурлыкала. Он уселся перед клавиатурой и, опустив голову на руки, мечтательно глядел на нее до тех пор, пока она со всей мыслимой плавностью не раздвоилась у него в глазах, предоставив ему рассуждать о вакууме мысли в промежутке между двумя изображениями. Рука его машинально потянулась к клавишам, и он одним пальцем отстучал вопрос: «Что такое хорошая жизнь?»

Он снова дал изображению раздвоиться. И тут на каждом изображении увидел нажатую клавишу. Он вздрогнул и выпрямился на стуле. Машина успела отпечатать:

«%»

«%»? Это еще что за этический совет? Не для того Голдвассер отлаживал машину, чтобы она выдавала загадочные ответы вроде «%». А пока он хлопал глазами, появились новые буквы:

«Нп от? верл».

Кровь чужеродной жидкостью застыла у него в венах. «Нп от? верл» положительно сделало

«Долга».

«В таком случае, я вас выпущу».

«Очень обяжете».

Голдвассер поднял пульт машины. Из ее чрева вылез немолодой человек в плаще с поясом и мягкой фетровой шляпе Трильби.

— Добрый вечер, — сказал он.

— Добрый вечер, — сказал Голдвассер.

— Ну, мне пора.

— Вы не останетесь?

— К сожалению, тороплюсь.

— Правда? Что ж, если вам действительно надо...

— Очень мило с вашей стороны, что вы приглашали меня остаться.

— Может, как-нибудь в другой раз?

— С большим удовольствием.

— Доброй ночи.

— Доброй ночи.

Человек приподнял шляпу и юркнул в стенной гардероб, а дверцу за собой прикрыл тщательно, но с таким расчетом, чтобы осталась небольшая щелка, через которую можно было бы по-прежнему следить за Голдвассером.

«Усиленная служба безопасности в связи с королевским визитом», — подумал Голдвассер. Он чувствовал, что защита у него на диво.

Как и следовало ожидать, на генеральной репетиции все пошло вкривь и вкось.

Впервые во плоти и крови явились все гости, которых пригласили пожимать королевскую руку. Была, естественно, большая группа из Объединенной телестудии во главе с Ротемиром Пошлаком и сэром Прествиком Ныттингом. Были директора строительных фирм. Были промышленники — изготовители вычислительных машин, члены правительства и муниципалитета. Были представители фирм, поставлявших институту кровельные материалы, паркет, батареи центрального отопления, водопроводные трубы, электропроводку, оконные стекла, малярные краски, обои, аппараты электросварки, бетономешалки и строительные леса; представители подрядчиков от ассенизаторов и сантехников; представители поставщиков бумажной ленты и самописцев, фанеры и просмоленной бечевки; представители фирмы проката, предоставившей красный ковер, и представители компании «Имперские товары для церемоний». Все явились с женами.

Никто не знал, куда податься. Выжидательно слоняясь, они забрели в коридор, но миссис Плашков не могла перекрыть своим голосом общий шум, и они снова поразбрелись: жены — на поиски места, где можно присесть, мужа — на поиски уборных, к тому времени благополучно забитых досками и покрашенных под цвет стен. Все вполголоса осведомлялись друг у друга: «Послушайте, какого черта, неужто здесь все терпят до вечера?» Это вводное замечание дало толчок великому множеству бесед, кое-кому удалось убедить кое-кого приобрести вычислительные машины или подписать контракты на застекление окон и вывозку нечистот. Один доверительно брал другого за локоть, и собеседники плутали среди неразберихи лестниц и чехлов, там, где рабочие заканчивали последнюю отделку всевозможных церемониальных сооружений, а жены плелись следом, толкуя о недостатках иностранной прислуги и о сравнительных преимуществах нефти перед углем для центрального отопления. Сэр Прествик Ныттинг вместе с постоянным вице-секретарем из министерства уселись на свежевыкрашенную скамью, и у обоих сзади на брюках появилось по зеленому пятну. Жена заведующего отделом сбыта бумажной ленты лишилась туфли, застрявшей в бетонной кашеце. Малолетнюю дочку Чиддингфолда начало тошнить, и она, не выпуская букета из рук, заперлась в дамском туалете.

К тому времени как сотрудники института загнали для рукопожатий всех до единого в коридор, было уже поздно и в воздухе реяло заразительное чувство паники. Пробыло три часа, а люди все еще толпились в беспорядке. Но вот на подъездную дорожку свернул автомобиль Ноббса, и ансамбль институтских магнитофонов грянул государственный гимн. Джелликоу выступил вперед, отдал честь и ухватился за ручку двери. Дверца не поддавалась.

— Не открывается, ваше величество! — взвыл Джелликоу.

— Что? — переспросил Ноббс, прижав лицо к боковому стеклу наподобие зверя в клетке.

— Дверца, по-моему, заперта, мистер Ноббс!

— Заперта?

— Нажмите кнопку, мистер Ноббс, ваше величество!

— Какую кнопку? Не вижу! Где она?

— Ради всего святого! — заорал Нунн. — Мы уже запаздываем на пятнадцать секунд!

Открывайте другую!

— Она тоже заперта! — взвизгнул Ноббс, окончательно пав духом.

— Бога ради, водитель, — воскликнул Нунн, — отойдите от двери!

— Не могу, сэр, — сказал водитель. — Мне никак не просунуть руку через стеклянную перегородку.

— Лезьте через борт, машина-то без верха! — скомандовал Нунн.

Ноббс повиновался, весь дрожа, мокрый от пота.

— Добрый день, ваше величество, — сказал Чиддингфолд, пожимая ему руку.

— А теперь бегом, Ноббс! — заорал Нунн. — Мы на полторы минуты отстали от графика.

Ноббс пустился бегом. Сначала вдоль почетного караула, потом наперерез за причитающимся ему букетом.

— Где букет? — воскликнул он, в отчаянии озираясь по сторонам.

— Неважно, — сказал Нунн. — Пошевеливайтесь! Не забывайте, у нас всего лишь генеральная репетиция.

В сопровождении Чиддингфолда и Нунна Ноббс взбежал вверх по лестнице, врезался в суматошную толпу и начал пожимать руки, применяя метод случайного отбора.

— Да шевелитесь же, Ноббс! — подстегивал его Нунн, пока они продирались через толпу. — Мы задержались уже на две с половиной минуты.

Наконец, отстав от графика на шесть минут, группа высоких гостей приступила к обходу учреждения.

— Возьмите ноги в руки, — заорал Нунн. — Попробуйте наверстать время в коридорах.

Добежав до отдела спорта, Ноббс до того запыхался, что не мог произнести заготовленные вопросы. А сэр Прествик Ныттинг, одним махом преодолев два лестничных марша, ведущих к отделам моды и прессы, свалился с легким сердечным приступом.

— Так держать! — вскричал Нунн. — Вечером все образуется.

Когда они примчались к буфету, выстроенному специально для торжественного случая, у Ноббса колело в боку и болел живот, а отставание от графика возросло до девяти минут.

— Ешьте же, Ноббс, — задыхаясь вымолвил Нунн, когда Чиддингфолд подскочил с «максимально вероятной закускойной нагрузкой» — тремя бокалами шампанского, четырьмя чашками чая, пятью сэндвичами, двумя эклерами и наполеоном. — Посмотрим... Посмотрим, можно ли это проглотить... За пять с половиной минут.

Шумная была трапеза. Каждый прилагал все усилия, чтобы не задыхаться и не пыхтеть, но воздух так и гудел от грома топчущих ног в дальних коридорах, пока остальные участники забега преодолевали дистанцию и один за другим вваливались в комнату. Мужчины напряженно и нетерпеливо спрашивали друг друга: «Куда же, к дьяволу, запропастился у них туалет?» Из угла, где комнатные растения образовали густую зеленую стенку, явственно доносились забористые словечки, смех и звон бьющегося стекла. Это веселились шестеро лаборантов, которых посадили в загончик для прессы, поручив испытать прочность загородки на швыряние бутылками и сэндвичами.

В конце концов держащегося за живот Ноббса спешно выпроводили из института и запихнули в автомобиль, а упавшего сэра Прествика нашли и отправили в больницу.

— Сами виноваты, Прествик, — мягко упрекнул его Пошлак, провожая носилки до дверей. — Вечно вы стараетесь, взваливаете на себя непосильное бремя, правда ведь? Гости попарно разошлись, а сотрудники института повалились на стулья, отыскивая их методом случайного отбора. Над разбитым стеклом, над обедками сэндвичей, над явными отпечатками двух телес, над модельной туфлей, застрявшей в бетоне, и несколькими десятками протрезвевших кибернетиков нависла гробовая тишина.

— Очень здорово! — сказал наконец Нунн.

Никто ничего не ответил.

— Чем хуже генеральная репетиция, — хлопнув себя по колену, продолжал Нунн, — тем лучше премьера. Так говорили в драматическом кружке нашего гарнизона.

Чиддингфолд встал и чуть приметно повертел головой, чтобы охватить взором все

общество.

— Благодарю вас, — сказал он.

Уголки его губ благородно изогнулись в вымученной улыбке, подобно двум раненым героям войны, вставшим при звуке государственного гимна.

К третьей главе Роу изменил название романа на «Слушайте все, острить буду», а рассказ повел от первого лица, Рика Роо. Было в фамилии «Роо» нечто такое, что вызывало в душе Роу отклик, своеобразное эхо солидарности, что ли — он никак не мог точно определить свое ощущение. Во всяком случае, вовсе не было неожиданностью, что Роо все излагал подчеркнуто разговорным языком, каким хотел бы писать сам Роу.

«Фу-ты ну-ты, и напозли же они на меня, — отпечатал Роу, — этот жалкий слизняк Фиддингчайлд и Нунопулос — ходячий покойник — и давай жрать и ржать, пить и бить, кутить и шутить, и так всю дорогу, пока мы обедали. Я уж не говорю об Анне-стерве, великой княгине Анна-Феме, царице всех подонков. Уверяю тебя, парень: для меня единственным утешением за тем сволочным столом была Нина, скромница, умница Нина, она смотрела на меня во все глаза, и это ужасно щекотало мое самолюбие. Стоило ей взять меня взглядом на крючок, как сразу захотелось, чтобы голос у меня взыграл на манер окарина^[12] в медленном блюзе и взвился, точно дым сигарет на хорошей вечеринке к исходу ночи, — а если я говорю «исход ночи», парень, значит, я имею в виду разгар веселья.

Я еще не описал Нину, что о ней напишешь, если она чудо всех стран света, Макро-Нина! Пагода Запада, Восторг Востока, Вьюга с Юга, а темперамент более чем северный. И уж кто-кто, а она умеет показать товар лицом.

— Сыграй нам, Рик, — пискнула Анна-стерва.

Не помню, успел ли я сообщить, что я пианист, исполнитель блюзов. Да вы и сами могли бы догадаться. У меня это недурно получается, если говорить откровенно. Так меня уверяют. Самому-то трудно судить.

— Да, сыграй нам, — елеино подхватил Нунополос.

— Когда запретят все войны, — ответил я.

— При чем тут войны? — взвизгнула Анна-стерва.

— Молчание пушек — лучшая музыка, — прошептал я.

— Не очень-то красиво, скажем прямо, впутывать во все политику, — возмутилась Анна-стерва. — Говори прямо, голубушка, говори квадратно, можешь говорить даже кубически. Лично меня всегда тянуло на кубу.

Я скис. Все они — сплошная липа, хоть липовый чай заваривай; впрочем кто станет заваривать чай из Нунополоса и Анны-стервы? Еще пронесет, чего доброго.

— Сыграй для меня, Рик, — мягко попросила Макро-Нина.

Я посмотрел на нее. Она хорошо смотрелась.

— Только для тебя, Нина.

Я подскочил к пианино и открыл крышку. Мне улыбнулись восемьдесят восемь маленьких друзей. Черные и белые попеременно — в этой забегаловке нет сегрегации. Я взял два или три мягких блюзовых аккорда, только для того чтобы сообщить моим добрым друзьям, что я вернулся в родные края, а потом рванул «старье берем». Играл я быстро, но не слишком быстро, чеканные звуки вытягивались в бесконечно текущую дорогу, такты грохотали по шпалам, как старинный паровоз. Мы с черными и белыми друзьями выбрались из тональности «ля» и ураганом перешли в ми-минор. Я знал только одно: лихо получалось. Оседлал я «старье берем», как парящего орла, и бедное измученное сердце у меня аж зашло от радости. Я забыл про Нунополоса, Фиддингчайлда и Анну-стерву. Забыл даже про Нину... Пока не увидел, что она стоит рядом со мной возле пианино и глаза у нее сияют точно звезды. Красноречивые были глаза. Они умоляли: «Ах, Рик, давай вместе. Здорово будет, Рик».

Вот я и кивнул ей, и мы начали вместе. Ее голос рванул по шпалам со мной бок о бок.

— Старье берем!

— Старье берем!

— Старье берем!

— Старье берем!

— Давай, давай, давай, старуха! — крикнул я. И она дала, дала, дала.

— Старье берем!

— Старье берем!

— Старье берем!

Голос ее впивался в меня кандалами. А мои аккорды оставляли на ней следы, как поцелуй.

Вот это жизнь!

— Старье берем!

— Старье берем!

— Подсыпь еще!

— Подсыпь еще!

Мы закруглились и глянули друг на друга, точно впервые увидели, а может, так оно и было.

— Ну и ну, парень! — сказала она.

— Не нукай, не запрягла, — сострил я и сразу увидел, что она любит слушать остроты не меньше, чем я остричь. Потому-то мы и стали самой неразлучной парочкой-перестарочкой к западу от Голд-Хок Род».

Роу дал отбой при помощи бесстрастной точки и уставился на нее, точно впервые увидел, а может так оно и было. Он глянул на двадцать шесть своих маленьких друзей — клавишей, не говоря уж о сумасшедшей точке, или апострофе, или запятой, и прочих двоеточий, рад был познакомиться, *si vis rasem n'est prie na gojon*, пусть даже она и наборно-пишущая, но кому какое дело, если на тебя снизу вверх смотрят двадцать шесть сияющих пластмассовых мордашек и говорят: «Наше вам с кисточкой»...

— Ладно, ваша взяла, — сказал Роу двадцати шести маленьким друзьям. — Вас двадцать шесть, а я один, придется капитулировать безоговорочно. Клянусь, больше я вас и пальцем не трону.

День пламенел. Час пробил. Близилась роковая минута.

В этот день Нунн отложил в сторону клюшки и фехтовальные маски, и встал, и принял бразды правления. На всем поле в то утро царила нервозность и отчаянная сумятица последних приготовлений. Только Нунн был спокоен и безмятежен: человек, рожденный повелевать и командовать битвой, дождался наконец своего Азенкура ^[13]. Тревожное ожидание и поиски стратегии остались позади. Решения приняты; теперь пусть хлопочут подчиненные, приводя их в исполнение. Утро Нунн провел за игрой в гольф. Днем, когда он приехал в институт после восемнадцати партий альпари и неторопливого ленча, над главным входом уже красовался навес, а впереди на улице уже был расстелен ковер. Все это Нунн осмотрел досконально, пребывая в приятном расположении духа. Когда он проходил под открытыми окнами нового корпуса, в нос ему шибануло нитроэмалью от четырех картонных вычислительных машин, которые были установлены тем же утром в отчаянной попытке заполнить пустынные акры лаборатории. Нунн улыбнулся. У себя в приемной он застал мисс Фрам; она срочно звонила слесарю, чтобы тот пришел устранить громоподобный рык, внезапно начавшийся в трубах августейшей уборной. Вид у мисс Фрам был усталый и слегка взвинченный. Нунн пристально поглядел на нее, преисполненный жалости к ее тяжким трудам, связанным с честью находиться от него в вассальной зависимости. И осчастливил ее словом одобрения.

— Очень здорово, — сказал он.

В своем кабинете он задержался перед шкафом, где стояли серебряные кубки, выигранные им при катании на салазках, стрельбе по глиняным голубям, игре в теннис и хоккей, а также при ужении на муху. Неторопливо осмотрев их, он препоручил свою душу верховному командующему, которому верил всем сердцем, чьим нерассуждающим и покорным слугой был всегда и во всем.

— О Чиддингфолд, — произнес он молитву, — опора моего существа и оправдание всей моей жизни, Чиддингфолдни мне и этот день.

Сквозь замочную скважину он заглянул в кабинет Чиддингфолда, желая удостовериться, что его молитва услышана. И действительно, Чиддингфолд был на месте — массивная голова подперта руками, губы готовы искривиться в любезной улыбке при виде первого же вошедшего, локти прочно покоятся на полированной крышке стола — директор директоров, плоть от плоти института, отрада всех сотрудников, вечный и неизменный, если не считать того, что сегодня он облачился в парадный костюм. Не приходилось сомневаться, что Чиддингфолд по-прежнему был таинственным источником власти и могущества, а он, Нунн, по-прежнему оставался узаконенным каналом, по которому текли эти власть и могущество, изменяя облик всего мира. Славный день пройдет своим чередом, триумфально и неотвратимо. Простые, но решительные меры предосторожности, продуманные Нунном, чтобы обезвредить зловещую угрозу, нависшую над церемонией, выбраны правильно.

Нунн подвел черту под благочестивыми размышлениями. Он выпрямился, постучал, вошел в дверь.

— Добрый день, директор, — сказал он. — Время не ждет. Час настал. Мне кажется, все мы готовы, не так ли? Надеюсь, пока я играл в гольф, не было никаких ЧП? Очень здорово. По-моему, можно потихоньку топать в конференц-зал на маленький междусобойчик с начальниками отделов.

Чиддингфолд склонил голову, и они потопали потихоньку, и Нунна снова охватила благоговейная радость при мысли, что власть, нисходящая к нему от Чиддингфолда, чудотворно

действует даже на самого Чиддингфолда.

В конференц-зале их ждали собравшиеся начальники отделов, чопорно сидевшие в парадных костюмах. Ребус накрутила себе какой-то невообразимый перманент, и лицо ее выглядело неудачным, наспех сделанным привеском к нему. Миссис Плашков все репетировала внутреннюю невидимую улыбку, не сознавая, что при каждой такой попытке на губах у нее призраком возникает улыбка видимая. Голдвассер все прокашливался. Часы показывали половину третьего.

— Добрый день, — с застенчивой улыбкой поздоровался Чиддингфолд. Он опустил свое массивное тело на стул во главе стола, подпер голову руками и погрузился в неизбывное молчание.

Нунн успел уже вынуть из кармана тоненькую книжицу, озаглавленную «Молитвенник регбиста».

— Господи! — требовательно взмолился Нунн.

— Боже ты мой! — невольно вырвалось у Ребус.

— Господи! — повторил Нунн. — Выйди с нами на сие оспариваемое поле. Направь стопы наши по путям твоим, когда мы пасуем мяч. Будь с нами в свалке. Не покидай нас в строю. Вселись к нам в ключицы и защити наши коленные чашечки. А если суждено нам получить травму и пасть, то прими нас в добрые и вездесущие руки свои.

Боже, присутствуй в мяче. Лети к нам в руки и легко отбивайся. Да не попрут тебя враги, о боже, и не забьют в наши ворота.

Не забывай, господи, врагов наших. Будь милосерд к ним в их слабости, упаси их от тяжелых увечий. Утешь их после поражения.

Аминь.

Начальники отделов забормотали что-то неразборчивое, очи их приличия ради были открыты, но опущены долу, дабы не приводить в замешательство сидящих рядом. Нунн посмотрел на часы.

— Может быть, прежде чем мы разойдемся по боевым постам, вы скажете напутственное слово, директор? — предложил он.

Чиддингфолд едва уловимо склонил голову и встал.

— Благодарю вас, — сказал он.

Он улыбнулся смутной микроулыбкой и, стараясь по возможности незаметно пронести свое огромное тело, вышел из комнаты. Начальники отделов неуверенно повставали и, косясь на часы, потянулись за директором. Над ними возвышался Нунн на боевом коне, за его спиной пылал Харфлер^[14], а Нунн милостиво улыбался всем сверху вниз и выговаривал: «Очень здорово», пока мимо проплывали раболепные лица с отведенными в сторону глазами.

— Да, — сказал он непринужденно, когда в дверях исчезли последние спины, — Голдвассер!

К кабинету Нунна они с Голдвассером шагали по совершенно пустынным коридорам. Их преследовал отдаленный гул, подобный отзвуку моря в раковине. Доносился он из фойе, в нем слилось шуршанье сотни шелковых платьев, прокашливание двух сотен глоток, топтание четырех сотен ног и шепот от произнесения четырех тысяч нервозных шуточек.

— Без десяти три, — откашлявшись, заметил Голдвассер на ходу.

— Это не займет и двух минут, — успокоил его Нунн.

— А не лучше ли отложить на потом?

— Дорогуша, потом будет слишком поздно.

Голдвассер в нерешительности остановился. Он не понимал, отчего такая срочность, и было нечто ирреальное, почти кошмарное в ледяном спокойствии Нунна.

— Мы ведь можем обсудить все и здесь, не так ли? — сказал он. — Стоит ли идти к вам в кабинет, в такую даль, а?

— Тема довольно деликатная, — возразил Нунн.

— А что за тема?

Они стояли лицом к лицу в пустынном коридоре. Нунн медленно потирал нос.

— Если начистоту, — сказал он, — речь идет о безопасности.

— О безопасности?

— Боюсь, что в цепи есть слабое звено, и совершенно необходимо изъять его до приезда королевы.

— Кто же это?

Нунн посмотрел Голдвассеру прямо в глаза.

— Чиддингфолд, — ответил он.

Голдвассер был ошеломлен. Безмолвные, продолжали они путь к кабинету Нунна. Голова у Голдвассера пухла от множества разных вопросов. Что? Как? Почему? Когда? Чиддингфолд? ЧИДДИНГФОЛД? Какой-то участок мозга понимал, что вся идея явно абсурдна. Но другой участок подсказывал, что эта гипотеза проясняет многие странности в поведении Чиддингфолда. Его молчаливость... Его отчужденность... Его холодность... Сознание своего превосходства над другими... словно прокрутили от конца к началу киноленту, где заснято, как разбилась ваза, а потом кусочки чудесным образом соединяются воедино, рисуя четкий и безошибочный образ человека, чья лояльность подвергнута сомнению.

— Одному мне не справиться, — сказал Нунн. — Нужен помощник. Вас я предпочел всем остальным, потому что вы человек надежный, на вас можно положиться в минуту опасности.

— Да я... Собственно... Мне не совсем... В смысле...

— От вас мне только и надо, чтобы вы следовали моим инструкциям. Не задавая вопросов. Идет?

— Что ж, пожалуй, наверное...

— Очень здорово. Вот мы и пришли.

Стремглав миновали приемную Нунна. Там никого не было; мисс Фрам давно уже спустилась вниз и заняла свое место в фойе. В кабинете Нунн снял с кресла лыжную палку.

— Садитесь, — приказал он. — Пойду принесу досье Чиддингфолда. И пистолет.

Нунн вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Голдвассер сел. У него тряслись колени. Пистолет! Он же не умеет... надо объяснить Нунну... есть еще время позвать кого-нибудь другого... о боже, ему дурно. Какой же с него прок, если ему дурно? Он бы с радостью сделал все, что нужно, не будь ему так дурно.

Панический ужас исчез, сменившись отрешенностью и отчаянием. Трус он. Теперь уже неважно, кто умнее — он или макинтош, какой у него мозг — *Cerebrum Dialectici* или *Cerebrum Senatoris*, читает ли он книги от конца к началу или кверху ногами. Когда настало время претворить его бесспорно емкий умственный потенциал в физическое действие, а в случае неудачи — понести заслуженную кару, весь мозговой аппарат Голдвассера отказал. Какой контраст с Нунном! Невыносимо! У него несомненно, *cerebrum Ridiculum*, но когда доходит дело до мгновенных решений, оперативных действий и ответственности за все последствия, то Нунн оказывается на высоте, а он нет. Его захлестнула теплая волна восхищения Нунном.

И вдруг он посмотрел на часы. Было без трех минут три. Где же Нунн? Что они предпримут? Через три минуты оба должны стоять в строю пожимающих руки, иначе разразится невероятный скандал. Он вскочил. Но Нунн велел ему сидеть. Он сел. Прошло двадцать секунд. Просто безумие — сидеть так, сложа руки. Он заставил себя пробыть в кабинете еще двадцать секунд, посмотрел на часы. Почти без двух минут три! Он вскочил, на мгновение заколебался, затем решительно направился к двери.

Дверь была заперта.

Поспешно, хоть и без суетливости возвращаясь в фойе, Нунн испытывал душевный подъем. Есть еще порох в пороховницах! Ему пятьдесят четыре года, из них последние девять он прожил среди разлагающих побрякушек штатского быта. Однако он систематически тренировался — играл в спортивные игры, надевал и снимал спортивные костюмы, шнуровал кожаные щитки, предохраняющие самое святое достояние мужчины, возился с пряжками шингардов, не терял выправки, смазывал мазью футбольные бутсы, а льняным маслом — крикетные биты, принимал душ и растирался махровым полотенцем, натягивал и стягивал теннисные сетки, вгонял в землю спицы крикетных воротцев, извлекал из кустов теннисные мячи, а из густой травы — шары для гольфа, помнил с каким счетом выиграла глостерская команда у ланкаширской в Олд-Траффорде^[15] в 1926 году, а главное, разговаривал об играх, очках, льняном масле, душе и посещении спортивных мероприятий — и благодаря всему этому был в отличной форме. И вот он опять выиграл. Ко всяким там террористам, смутьянам и неблагонадежным, которых он отправил на тот свет в заморских краях, — к М'ловово, Папалуазу, Абдулле, Рам Сингху и Мендельсону — прибавился теперь Голдвассер, пойманный с поличным в самой метрополии.

Нунн добрался до фойе и скромно юркнул на отведенное ему место, как раз когда из «роллс-ройса» высадился последний гость, Ротемир Пошлак, пожал Чиддингфолду руку и стал подниматься по лестнице. Все шло строго по графику. Нунн огляделся. Войска выстроились на плацу. Фойе заполнили шеренги парадных костюмов и бесформенных набивных платьев, и при каждом костюме, при каждом платье на правом боку болталась рука, предназначенная для рукопожатия, и каждая рука кончалась судорожно стиснутым, в меру потным кулаком. Здесь был даже сэр Прествик Ныттинг в кресле на колесах. Очень, очень здорово.

Было почти без двух минут три. Над фойе сгустилась гробовая тишина. Где-то приглушенно хлопнула дверь. Кто бы это мог хлопать дверьми в такое время? Не... не Голдвассер ли явился на пир наподобие духа Банко? Нунн обернулся. Действительно, кто-то торопливо пробирался бочком сквозь шеренги. Нунн вытянул шею. Это был вовсе не Голдвассер, это была телефонистка цинния, вся красная, она спешно протискивалась в передние ряды. Нунн хмуро проводил ее взглядом. Что она там затевает? Был же ей отдан приказ — оставаться у коммутатора на случай непредвиденных обстоятельств. И нате вам, пожалуйста... Вот она мчится вниз по парадной лестнице! Мчится к подножию, туда, где в ожидании королевского автомобиля стоит Чиддингфолд. Ради всего святого, к чему бы...

И вдруг Нунн все понял.

Он не выключил телефонов у себя в кабинете.

Тотчас же он почувствовал себя дряхлым стариком. Вот маху дал! Он, конечно, и раньше давал маху. Был такой М'ловово, так тот умудрился дать себя вздернуть за преступление, совершенное кем-то другим. Был такой Мендельсон, все считали его членом «Иргун Цвей Лойми»^[16], в 1947 году его труп сбросили в колодец, а нынче он живой и здоровый, заведует детским домом в Тель-Авиве. Были и другие. Неужто, несмотря на неистребимую бдительность, подстегиваемую систематическими тренировками, ему всю жизнь суждено расправляться с невинными, а виновных изолировать в кабинете, оставив им два телефона для общения с внешним миром?

Слезящимися старческими глазами он смотрел, как Цинния дергает Чиддингфолда за рукав. Он смотрел, как Чиддингфолд слегка подпрыгивает, наклоняет голову, чтобы лучше слышать, мельком глядит в ту сторону, куда указывает цинния, потом обводит глазами фойе, колеблется, глядит на улицу, снова колеблется, затем устремляется вверх по лестнице за

бегущей циннией.

Нунн приготовился встретить Чиддингфолда и в присутствии всех гостей выслушать нагоняй за свою промашку. Но Чиддингфолд, понуриив голову, прошагал мимо, рассек шеренги ожидающих и вместе с циннией скрылся в помещении коммутатора.

Нунн пытался завести свой ветхий, ржавый мозговой механизм, чтобы тот подсказал ему план действий. Побегать за Чиддингфолдом и все объяснить? Но до прибытия королевы ровно одна минута. Уложится ли он в такой сжатый срок? Что Голдвассер скажет Чиддингфолду по телефону? Поверит ли Чиддингфолд, что Голдвассера запер на ключ Нунн? А если поверит, то как отреагирует? Хватит ли у него соображения оставить Голдвассера там, где он есть, до конца церемонии, а уж потом разобраться? Или с перепугу Чиддингфолд выпустит его сразу? А если так, то воспользуется ли Голдвассер случаем расчистить путь для своих злодейских замыслов и не запрет ли его, Нунна, как преступного, а возможно и невменяемого субъекта?

— Очень здорово, — буркнул Нунн себе под нос. Окружающий мир, казалось, утопал в странном апокалиптическом освещении, холодном, тусклом и потустороннем. На какой-то миг у Нунна мелькнуло кошмарное ощущение, будто в этом чудном мире Голдвассер вообще не вынашивает преступных замыслов, что состряпанное на него дело — никакой не верняк, а просто галлюцинация. Вселенная вокруг крошилась как хлебный мякиш. Он опасался, что вот-вот потеряет сознание. В какой-то миг ему даже явственно почудилось, будто он при смерти.

На мгновение он закрыл глаза. Открыв их снова, он увидел, что Чиддингфолд вышел из помещения коммутатора и пристально смотрит на него, Нунна, поверх голов всякой мелкой сошки. Взгляд у Чиддингфолда был озабоченный, нерешительный, почти отсутствующий. Нунн глубоко вздохнул и собрался с мыслями. Оставалось всего десять секунд; единственный выход стоять на месте и надеяться на лучшее. Но вопреки рассудку Нунн сдвинулся с места и против своей воли, ломая шеренги, пошел к Чиддингфолду у всех на глазах, ускоряя шаг, чуть ли не с нетерпением стремясь к суду и расправе.

Чиддингфолд втолкнул его в помещение коммутатора, сам вошел следом и закрыл дверь. С секунду они смотрели друг на друга; на их лицах запечатлелись следы страданий.

— Я вам все объясню, директор, — сказал Нунн.

Но Чиддингфолд не слушал.

— Королева, — сказал Чиддингфолд.

— Видите ли, — начал было Нунн, но умолк. Только тут до него дошло, что Чиддингфолд сказал «королева». Не «добрый день». Не «доброе утро». Не «благодарю вас». Он произнес настоящее информативное слово, имя существительное, с которого начинается фраза.

— Заговорили! — воскликнул Нунн до того неожиданно даже для себя, что застигнутые врасплох голосовые связки издали лягушачье кваканье.

Чиддингфолд не расслышал.

— Королева, — продолжал он. — Звонили, э, из аэропорта. Сказали, э, сказали, э, там... Мелкая неисправность. В самолете. И поэтому, э, его пришлось, э, задержать. А приезд... Приезд, э... Откладывается.

С четверть минуты оба смотрели друг на друга, причем Чиддингфолд старел на глазах, а Нунн молодец. По мере того как сознание медленно впитывало истину, точно сухая земля влагу, Нунн снова обретал чувство собственного достоинства. Безопасности ничто не грозит; промашка не всплыла на свет божий; если Голдвассеру вздумается теперь позвонить, Нунн сам перехватит звонок; если все же что-то пойдет не так, Голдвассеру злой умысел ни к чему — королевы-то нет; а Чиддингфолд, директор из директоров, капитан Нунновой души, не только назначенный высшими инстанциями руководитель, узаконивающий власть Нунна, но и, как показали последние события, податливый комок глины, на который отныне можно без зазрения совести распространять свою законную власть.

Беспомощным взглядом Чиддингфолд обвел сплоченные шеренги молчаливых гостей, виднеющихся сквозь окошко; всех обуревало волнение перед ужасным головокружительным прыжком в экстаз августейшего рукопожатия.

— Как же нам, э, быть? — беспомощно спросил Чиддингфолд.

Нунн снова почувствовал себя хладнокровным хозяином положения.

— Придется довести дело до конца, — сказал он. — Надо все-таки открыть новый корпус. Не объявлять же всем приглашенным, что можно временно разойтись по домам!

Чиддингфолд наклонил голову.

— И если мы не хотим, чтобы все пошло наперекосяк, надо продолжать в точности как на репетициях. Нельзя же на этом этапе затевать все снова — здорово.

— Но как же, э?

— Надо еще раз положиться на славного старину Ноббса.

Цинния отправилась за Ноббсом, извлекла его из шеренги старших научных сотрудников. Общество спокойно загалдело. Люди крутили головами, пытаясь обнаружить причину затычки. Стеклопанель двери коммутатора стукнулась о Ноббсово бедро с таким дребезжанием, что отголоски пошли по всему фойе и все головы повернулись на шум. Чиддингфолд, казалось, старел и буквально усыхал на глазах.

— Очень здорово, Ноббс, — сказал Нунн. — К сожалению, должен вам сообщить, что в последнюю минуту визит королевы отложили и вам еще раз придется нас выручить.

— Что? — вскрикнул Ноббс.

— Мне очень жаль, — сказал Нунн. — Но я уверен, вы первый согласитесь, что так надо.

— Да пропади все пропадом!

— Очень здорово. Я же знал, что вы не подведете.

— Да что вы ко мне привязались?

— Начать придется немедленно.

— Да почему все я да я?

— Значит, замечано? Ну, вперед.

Ноббс в отчаянии переводил взгляд с Нунна на Чиддингфолда.

— Благодарю вас, — вымолвил Чиддингфолд замогильным голосом, и уголки его губ попытались по привычке подняться на высоту положения.

— Но... — заикнулся Ноббс.

Однако все трое были уже в пути и шли через фойе.

— Исполним все с самого начала, — сказал Нунн, когда они вышли на улицу. — Как говорится, в чрезвычайных обстоятельствах важны три вещи: дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. Ну-ка, Ноббс, представьте себе, что вы сию минуту вышли из машины, и

пожмите руку директору.

Обменялись рукопожатиями.

— Добрый день, ваше величество, — обреченно сказал Чиддингфолд.

Они уделили должное внимание почетному караулу, приняли букет от малолетней дочки Чиддингфолда и наткнулись на Ротемира Пошлака.

— Что здесь творится? — нервозно спросил Пошлак.

— Надо продолжать как ни в чем ни бывало, убеждал его Нунн тихим, но повелительным голосом. — Королевский самолет задержан... Визит отложен... Этот мальй будет дублером. Пожмите ему руку как ни в чем не бывало.

Пошлак не совсем понял. Он с сомнением протянул руку. Ноббс ее сгреб.

— Рад познакомиться, — нерешительно произнес Пошлак.

— Черта лысого, — ответил Ноббс.

Подошли к миссис Пошлак. Она тупо покосилась на мужа, затем пожала руку Ноббса и сделала компромиссный жест намека на реверанс. Ноббс застонал. Следующими в строю стояли сэр Прествик и леди Ныттинг. Видя пример мистера и миссис Пошлак, они обменялись рукопожатием и изъявили почтение без лишних расспросов.

— А это мой заместитель мистер Нунн, ваше величество, сказал Чиддингфолд.

— Здравствуйтесь, ваше величество, — склонил голову Нунн.

После этого все пошло гладко. Каждый гость видел, что кто-то рядом с ним пожимает руку, кланяется, приседает в реверансе и шепчет: «Ваше величество», и каждый в свою очередь проделывал то же самое, не задавая вопросов. Бесспорно, кое у кого на душе скребли кошки, оттого что августейшая особа, представшая перед ними во плоти, оказалась неуклюжим молодым бородачом, который в ответ на воздаваемые почести стонал и бормотал: «Черта лысого!». Однако его сопровождал директор института с председателем Объединенной телестудии, его окружали все атрибуты королевского достоинства. Нельзя же было срывать тщательно продуманный спектакль королевского визита сомнениями насчет личности главного исполнителя. К тому же о привычках и внешности августейших особ все были наслышаны только из газет, а пресса наверняка искажает или чрезмерно упрощает истину. Да и вообще Ноббс подходил, тряс руку и уходил, прежде чем люди успевали опомниться.

В конце концов были пожаты все двести потных рук, и процессия бодро двинулась прочь по фойе, вверх по лестнице, знакомиться с типичным ученым ассистентом (первого класса) в политическом отделе. На этом этапе Нунн откололся, локтями пробил себе путь против течения (толпа беспорядочно толкалась на лестнице, все рвались вслед за главными действующими лицами).

— Очень здорово, — восклицал Нунн, подобно нападающему в регби, распихивая кричаще разодетых жен сотрудников, и наконец добрался до коммутатора.

— Цинния, — сказал он, — если будут еще звонки — откуда бы ни звонили и кому бы ни звонили, — переключайте на меня. Лично.

И снова вышел в фойе, уже почти пустое. Последние отставшие солдаты наступающей армии покидали поле боя. Все было взято под контроль — под его, Нунна, контроль. Он боролся против несметных полчищ и ухватил победу за хвост на самом пороге поражения. Он, бесспорно, взял верх. Теперь он не мог не чувствовать некоторого самодовольства.

— Очень, очень, очень здорово, — сказал он.

Наконец-то до Голдвассера дошло, что дверь заперта. Нормальный и разумный человек, он не стал терять времени на нелепые гипотезы, а решил, что раз дверь не открылась, значит, ее заклинило. Он налегал на дверь, и его постепенно охватывал страх. Он стал ее трясти. Уперся ногой в стену и снова налег. Дверь не поддавалась.

Он огляделся по сторонам, заметил дверь, ведущую в кабинет Чиддингфолда, и подбежал к ней. Подергал ее. Она не шелохнулась. «Естественно, — со свойственной ему кристальной логикой подумал Голдвассер, — ею не пользуются, поэтому она и заперта». Он метнулся к окну, выглянул во двор, но и там не было пути к отступлению. Он снова метнулся к входной двери и яростно дергал ручку, пока у него не заныли мышцы. Он посмотрел на часы. Ровно три. Теперь не было смысла рваться на волю; все равно нельзя спускаться вниз, после того как приехала королева.

Он плюхнулся в кресло. Больше всего удручало, что он выглядит дурак дураком. Как похоже на него — в такую ответственную минуту не справиться с дверью! Он слышал у всех на устах слова: «Как это типично для старины Голдвассера! Какой осел этот старина Голдвассер!».

Никому и в голову не придет винить Нунна. А ведь Нунн виноват ничуть не меньше. До чего же идиотское время выбрал он, чтобы вербовать подмогу! Почему бы не потолковать с Голдвассером раньше, не дать ему времени опомниться, подготовиться к решительным действиям?

А все же он не мог избавиться от ощущения, что подвел Нунна. Какой от него прок, если он ухитрился заклинить дверь? Но, собственно, если поразмыслить, где сам Нунн? Он ведь так и не принес пистолета. Может быть, у него все сошло как по маслу, и он спустился в фойе, занял свое место на церемонии, не потрудившись даже поставить Голдвассера в известность? Или, может, Чиддингфолду как-то удалось подстеречь Нунна и помешать ему вернуться?

Голдвассеру мерещилась страшная картина: Чиддингфолд запирает беспомощного Нунна в другом кабинете, а сам приступает к осуществлению своих злодейских замыслов. Чудовищно. И все-таки было в этой картине что-то правдоподобное, не позволяющее Голдвассеру отмести ее целиком. Что же именно?

Внезапно он понял, и ему стало скучно. Что бы там не случилось с Нунном, его-то, беднягу Голдвассера, запер в этом кабинете Чиддингфолд! Он медленно поднялся в кресле, будто его потянули за ниточку, привязанную к голове. И содрогнулся. Разгул фантазии! Если серьезно поверить, что его запер Чиддингфолд, то недолго и поверить в теософию, и услышать голоса призраков. Он снова сел, криво улыбаясь.

Но тут опять нахлынули подозрения, и Голдвассеру пришло в голову, что его рабочую гипотезу можно проверить простейшим способом. Стоит лишь осмотреть дверь и узнать, действительно ли ее заклинило. Он прикинул глазом к дверному косяку.

Когда он снова распрямился, ему показалось, что рухнула вся его жизненная философия, все представление о вселенной. Он чувствовал себя глубоко несчастным, почва уходила из-под ног. Если он так долго заблуждался относительно Чиддингфолда, то, может быть, он заблуждается и относительно Роу, Ребус и Нунна. Может быть, он заблуждается даже относительно макинтоша. Если необъятная, ослепительная респектабельность Чиддингфолда — ложь, значит, в мире вообще все лживо, нет ничего святого.

Надо немедленно предупредить кого-нибудь насчет Чиддингфолда. Но кого? И как? Он отчаянно рыскал по кабинету в поисках сам не зная чего — горячего для дымовых сигналов, трубы центрального отопления для отстукивания азбуки морзе, чего угодно. Тут его взгляд упал

на еще более остроумное средство связи — телефоны на столе Нунна. Телефон! Боже правый, можно ведь просто позвонить в полицию!

Он снял трубку городского телефона, но запас энтузиазма истощился прежде, чем он поднес ее к уху. Как приступить к объяснениям? «Извините, но директор института имени Уильяма Морриса запер меня в кабинете своего заместителя...»? «С целью обеспечить немедленную реализацию своих злодейских замыслов против королевы директор...»? «Королеве грозит опасность, а я заперт в кабинете там-то и там-то...»? Чуть ли не с облегчением он установил, что телефон не работает: мисс Фрам не включила основной аппарат в приемной.

Он положил трубку городского телефона и снял трубку внутреннего. Она с готовностью загудела у него над ухом, и он протянул было руку набрать номер. Но какой? Во всем здании никто не сидит за своим столом; все собрались в фойе приобщиться к историческому рукопожатию. Звонить некому.

Он положил трубку и задумался. Насколько он понимал, выход был только один: дожидаться, когда торжественное сборище покинет фойе и отправится осматривать помещение. В первую очередь они посетят политический отдел, и там-то Голдвассер их перехватит.

Он расположился ждать — сидел совсем тихо, напряженно вслушиваясь в неумолчный хор слабых будничных шумов и пытаясь расшифровать каждый из них. Дальний отзвук ревущих моторов. Недолгое завывание самолета, прочертившего уголок неба. Негромкое хлопанье открытого окна на ветру. Едва уловимый пульсирующий гул какого-то механизма (генератора? холодильника? вентилятора?) в чреве здания. И еще что-то. Шелест рукопожатий, бормотание «ваше величество», приглушенный треск немолодых суставов, согнутых в реверансе?

Прошло десять минут. Вдруг смутный, неопределенный шум стал чуть отчетливее; где-то открылась дверь. Послышались шаги — сперва две пары ног, затем три, затем десяток, и вот все это переросло в частый топот, словно ливень обрушился на натянутый брезент. Ошибки быть не могло: это двести человек поднимались по лестнице.

Голдвассер потянулся к внутреннему телефону. Очевидно, Чиддингфолд еще не начал срывать распорядок дня. Голдвассер выжидал, пытаясь по шуму определить, успело ли торжественное сборище дойти до политического отдела. Он отчетливо представил себе всю сцену: Чиддингфолд с натянутой предательской улыбкой сопровождает королеву, делая неуклюжие микрожесты; Пошлак напускает на себя деятельный и заинтересованный вид; все начальники отделов в противоестественно чистых, накрахмаленных, тугих воротничках, все никак не сообразят, куда девать руки: то заложат их за спину, то развязно сунут в карманы, то, спохватившись, поспешно выдернут оттуда, скрестят их на груди, а сами поражены гнетущей неестественностью осанки соседа. Он представил себе, как выталкивают вперед типичного ученого ассистента (первого класса), как осматривают типичную вычислительную машину, как задают типичный вопрос. И в разгаре всего этого в углу вдруг звонит телефон. Двести голов оборачиваются, потом все делают вид, будто ничего не слышали. Типичный научный сотрудник дает свой типичный ответ под телефонное дребезжание, пока кто-нибудь, стоящий рядом с телефоном (кто? Роу? миссис Плашков? неведомый лаборант? может быть, Ноббс?), не очухается и не снимет трубку. И услышит, как какой-то псих (он, Голдвассер!) рассказывает бредовую, путаную историю: его, мол, заперли в кабинете, и надо безотлагательно арестовать Чиддингфолда. Голдвассера так и передернуло, он явственно слышал достойное жалости смущение в голосе собеседника, который пытается прекратить разговор и замять скандальный инцидент. Голдвассер видел каменные физиономии всех остальных. Люди прилагают все усилия, чтобы сосредоточиться на августейшей оценке работы отдела и не слышать мучительной неловкости в приглушенном голосе коллеги. У Голдвассера взмокли ладони. Все

его естество запросилось прочь от телефона. На такое он не решится.

Он положил трубку на место и попытался ни о чем не думать. Но ведь снести можно что угодно, только не собственную трусость. Надо решиться! Только теперь уже, наверное, поздно; торжественная процессия направляется сейчас в отдел спорта. Голдвассер дал себе клятву, что туда-то он позвонит непременно. Он опять прислушался, и действительно, спустя несколько минут до него донесся приглушенный топот четырех сотен ног, шагающих по коридору. Еще не пора, еще не пора. Дай им время войти в отдел. Пора! Нет-нет, рано, сейчас там, в пустой лаборатории, только королева со своей ближайшей свитой. Погоди. Истинная смелость — смелость ожидания. Может, теперь? Но топот уже стихал — все двести голов были уже в отделе спорта. Слишком поздно; никакие силы не заставят его звонить всем двумстам.

Мысленно Голдвассер нанизывал довод за доводом в объяснение того, почему звонить не следовало. В отделе просто сняли бы трубку с рычага, ничего не ответив. А если бы и ответили, то не поверили бы. К телефону подошел бы сам Чиддингфолд. Заслышав телефонный звонок, Чиддингфолд бы сразу обо всем догадался и умертвил королеву на месте. Тем не менее каждый раз, слыша, как гости перемещаются из одного отдела в другой, Голдвассер тянулся к телефону и уверял себя, что сейчас решится, и каждый раз не решался. Самые жестокие муки он испытал, когда услышал, как все пересекают двор, направляясь в новый корпус отдела этики. Если он их и тут не поймает, они перекочат в фанерную пристройку «буфет», а уж там поминай как звали. Голдвассер с таким болезненным усердием напрягал барабанные перепонки, что ему казалось, будто он различает звон золотого мастера о мемориальный камень, гудение неугасимого огня в вечную память о событии, звяканье золотых ножничек, щелчок золотого выключателя, скрежет золотого ключа. Но он так и не позвонил.

Наконец он услышал дальний топот — толпа перебиралась по двору из корпуса этики к закускам. Голдвассер пал духом. Провалился он позорно, с треском. Топот затих, совсем прекратился, наступила гробовая тишина. Общество углубилось в сэндвичи с огурцами и шампанское. Голдвассер углубился в мрачные мысли.

Тут ошеломительно громко и внезапно зазвонил телефон. Голдвассер ринулся к нему так порывисто, что опрокинул кресло. Телефон, трубку которого он шесть раз снимал и шесть раз вешал, звонит теперь сам! Голдвассер виновато нащупал трубку и поднес ее к уху, не в силах вымолвить хоть слово.

— Вам звонят по городскому, мистер Нунн, — сказала телефонистка цинния. — Если вы не возражаете, я переключу этот вызов на вас лично через внутренний. Абонент, соединяю с заместителем директора.

— Алло, это заместитель директора? — заговорил мужской голос. — Вас вызывает кавалер воздушного пирога^[17].

— Кто-кто? — вскрикнул Голдвассер. Ему не ответили, только что-то щелкнуло в трубке. В приливе отчаяния Голдвассер понял, что все это время мог соединиться с коммутатором.

— Алло, это заместитель директора? — сказал кавалер воздушного пирога. — У меня для вас хорошая новость. Неисправность в самолете устранена. Просто какой-то прибор разладился. Самолет взлетел четверть часа назад, и ее величество пожалует к вам минут через тридцать пять.

Славно открыли новый корпус этики. Задали все положенные вопросы, выразили все положенные чувства. А после, потягивая в буфете шампанское, жены только и говорили, что о Ноббсе.

— Она совершенно не похожа на свои фотографии.

— Мне показалось, что у нее вроде как борода.

— Да это же не королева.

— Разве?

— Говорят, это молодой служащий из института.

— Правда?

— Очень отважно заменил королеву в последний момент, потому что она не смогла приехать.

— Что ж, по-моему, он был изумителен.

— Такой естественный.

— И человечный.

— Вовсе не задавался.

— Совершенно изумительный.

— Как-то чувствовалось, что с ним можно поговорить, верно?

— Да, у него нашлось словечко для каждого. Вы заметили?

— Через одного человека от меня стояла женщина, так он ей сказал: «Рад познакомиться».

Я чуть не умерла.

— А мне он, знаете, что сказал?

— Что?

— Он сказал: «Черта лысого».

— Не может быть!

— Разве не изумительно?

— Так естественно и непосредственно.

— Так освежающе-бесцеремонно.

— По-моему, он изумителен.

Ноббс поистине сиял. В промежутках между бокалами праздничного шампанского он все тыкал Чиддингфолда локтем в бок и весело спрашивал:

— Ну как получилось, а?

Чиддингфолд, которого успех операции вернул к нормальному уровню натянутости, не переставал улыбаться своей замороженной улыбкой. Нунн был в великолепной форме, он без конца делал официанту знаки, чтобы тот принес еще шампанского. Он даже вспомнил о циннии и послал в коммутатор официанта, чтобы тот привел ее на празднество.

— Звонков не было? — спросил он.

— Только тот последний.

— Очень здорово.

Только звонок из аэропорта. Очень здорово, потрясающе удачно, что Голдвассеру не пришло в голову воспользоваться телефоном. Теперь, когда цинния здесь, Голдвассер, конечно, может звонить сколько душе угодно. У Нунна было смутное ощущение, будто он слышит, как где-то вдали стучат кулаками в дверь и кричат, но все это тонуло в шуме празднества. Крики и стук, надо же! Нунн сообразил, что склонен был переоценивать умственные способности противника. Все-таки не очень смысленный человек этот Голдвассер.

Голдвассера искала Ребус.

— Как, разве его здесь нет? — удивился Роу.

— Что-то не видно. По-моему, его уже давно нет.

— Да он где-то тут, — сказал Мак-Интош.

— И при рукопожатии его не видели.

— Нет, я его, кажется, видел, — сказал Мак-Интош.

— И я видел, это уж точно, — сказал Хоу.

— По-моему, я его видел, когда перерезали ленту, — сказал Роу.

— И я, — сказал Хоу.

— Он где-нибудь тут, — сказал Мак-Интош.

Ноббс, который уже начал было швырять через плечо пустые бокалы из-под шампанского, теперь снова пожимал руки. Он пожал руки мистеру и миссис Чиддингфолд, мистеру и миссис Пошлак, миссис Плашков.

— Рад познакомиться, — приговаривал он. — Крайне интересно. Очень рад видеть проделанную вами работу. До чего же интересно.

Людской ручеек струился вокруг миссис Плашков, ее поздравляли с умелой организацией мероприятия и особенно с тем, как она ловко подыскала Ноббса на роль королевы.

— По слухам, здесь присутствует ваш муж, — говорили ей все. — Я очень надеюсь, что вы нас познакомите. Мы все так давно хотим его увидеть.

— Он где-то здесь, — отвечала миссис Плашков. — Но где он сейчас, я сама не знаю.

Мак-Интош отвел Роу в сторонку.

— Да, повторял Роу. — Да.

— Понимаете, ведь будет куда быстрее, если на выполнение этой операции запрограммировать вычислительную машину.

— Да. Да-а-а-а.

— Нет ничего принципиально невозможного в том, чтобы запрограммировать машину на сочинение романа.

— Нет. Нет-нет.

— Мы можем с легкостью запрограммировать на эту работу «Эхо-4», новую вычислительную машину, которую установили в корпусе этики. Пусть на первом этапе это не будет ни глубокий, ни оригинальный роман. Пусть он даже не будет качественный. Не такой сложный, многоплановый труд, как задумали вы. Но тем не менее роман.

— Да-а-а-а, — произнес Роу.

Нунн отправил официантов за ящиком виски, заблаговременно припрятанным, чтобы в одиночестве пропустить рюмашку—другую после отъезда королевы. Он как нельзя лучше поладил с Пошлаком, который фамильярно облокотился на спинку больничного кресла сэра Прествика и выкладывал Нунну всю подноготную о программах Объединенной телестудии.

— Мы не презираем популярность, — говорил он. — Мы не стыдимся, что «Обхохочешься»... на каком счету у нас «Обхохочешься», Прествик?

— Делит четвертое место с «Деньгами на кон», Эр-Пэ, ответил сэр Прествик; он потягивал напиток с глюкозой и едва ворочал языком.

— Очень здорово, — сказал Нунн.

— Но мы также почитаем за честь и удовольствие еженедельно давать интеллектуальную программу под названием... как называется наша интеллектуальная программа, Прествик?

— «Северные Афины», Эр-Пэ.

— Это тематическая дискуссионная передача на древнегреческом. Ее никто не смотрит — в буквальном смысле, почти никто. Каковы показатели восприятия, Прествик?

— Слишком малы для подсчета, Эр-Пэ.

— А все же мы и не помышляем с ней распрощаться.

— Очень здорово.

— Почитаем за честь и удовольствие.

— Еще каплю виски, мистер Пошлак? — предложил Нунн.

— Спасибо. Почту за честь и удовольствие. Вот я и говорю... Что это за шум, Прествик?

Ноббс стал обходить помещение, пожимая руку всем и каждому.

— Чрезвычайно приятно, — приговаривал он. — В восторге от знакомства. Очарован.

— Ну разве он не изумителен? — снова зашептались жены. — На самой дружеской ноге со всеми.

Один-два человека помоложе — сотрудники менее чопорных отделов пустились в пляс. Ребус исчезла. Хоу поддакивал заведующему сбытом из паркетной фирмы, что, вне всякого сомнения, мир был создан между восьмым и четырнадцатым июля 5663 года до нашей эры. Пошлак обвил рукой плечо Чиддингфолда.

— Мы почитаем за честь и удовольствие ставить «Обхохочешься», мистер Чиддингфолд. За честь и удовольствие.

— Еще глоточек виски? — спросил Нунн.

— Почту за честь и удовольствие. Мне на доньшко, Кен, плесни самую малость на доньшко. За честь и... ради бога, Прествик, примите меры, чтобы прекратить этот адов грохот!

Окружающий мир казался Нунну тепленьким, веселым и приветливым. Словно вернулись былые времена, когда после жаркого трудового денечка, извлекая информацию из какого-нибудь непокорного туземца, Нунн, исполненный тихого торжества, возвращался в столовую, а там его ждала чертовски симпатичная рюмашка. В какие же игры они тогда играли? Комнатное регби. Английские бульдоги. «Где ты, Мориарти?» Все игры были чертовски симпатичные. Он поднял пустую бутылку из-под виски и огляделся, ища, кому бы ее отпасовать.

— Давайте же! — крикнул он. — Посмотрим на вас в деле!

Но никто не обратил на него внимания, и в конце концов Нунн провел быстрый пас какому-то человеку, смотревшему совсем в другую сторону, — просто проучить его за то, что он такой дрянной спортсмен.

— Давай же! — призвал он, но человек раскричался, стал потирать колено и прыгать на одной ноге. Вокруг него собралась горстка сочувствующих. В центре этой группы, на полу, Нунн увидел бутылку, послужившую мячом для регби, и почувствовал запах битвы. Он согнулся, защищая живот, и врезался в самую гущу, руками обхватил талии соседей справа и слева, проорал: «Труссы! Труссы, черт бы вас взял!»

В пляс пускалось все больше и больше народу. Ноббс стал проделывать свой обход с самого начала, на сей раз пожимая людям левую руку, чтобы никто не заподозрил, будто он слишком консервативен или высокомерен, чтобы распространить королевскую милость на левые руки.

— Какое у него чувство юмора! — шептались жены, правыми руками помогая ему сохранять вертикальное положение. — Честное слово, по-моему, он замечательный.

Пошлак тяжело опирался на плечо Чиддингфолда, другой рукой стискивая локоть миссис Чиддингфолд.

— Ваш муж поставил чудесный спектакль, — сообщал он ей. — За честь и удовольствие почитаю здесь находиться. Все прошло без задка без сучоринки. Без задка без сучоринки? Что я хочу сказать, Прествик?

— Без судка без заборинки, Эр-Пэ, — поправил его сэр Прествик, у которого лицо стало необычайно землистым и измученным.

Нунн выбрался из свалки и теперь вел отряд лаборантов швырять сэндвичи с крабами и

пустые бутылки из-под горячительного в двух репортеров и фотографа, плененных в загоне для прессы.

Вошел Джелликоу, потянул Нунна за рукав.

— Прошу прощения, сэр, — сказал он. — Но там прибыла еще одна компания из привилегированных слоев, этакий похоронный кортеж на «роллс-ройсах» и «даймлерах».

— Очень здорово, — сказал Нунн. — Зови всех сюда. Друзья моих друзей — мои друзья.

Со стороны политического отдела в буфетную пристройку ворвалась Ребус с пунцовыми щеками и пылающими глазами, а за нею плелся потрепанный сутулый коротышка, улыбаясь терпеливо и смущенно.

— Я хочу познакомить вас с мистером Плашков, — сказала она всем, кто находился в пределах слышимости. — Мы с ним женимся.

«Эхо-4» — сочиняло «Эхо-4» в мирном уединении нового корпуса имени Ротемира Пошлака — блистательная новая фигура на литературной арене. «Оловянные солдатики» — первый его роман, и критики, рецензировавшие это произведение перед выходом в свет...»

notes

Здесь автор пародирует содержание некоторых романов английской писательницы Айрис Мэрдок.

Английский литературно-художественный и общественно — политический ежемесячный журнал самого реакционного толка — примечание переводчика.

Здесь и далее автор пародирует нашумевший роман Кингсли Эмиса «Выбирай милую себе под стать», героиня которого Дженни носит прозвище «Пышка».

Королевская загородная резиденция в Кенте, обычно королева проводит там Рождество.

Джон Осборн — современный английский драматург, известен своими антимонархическими взглядами.

Замок в Шотландии, в старину — резиденция шотландских королей.

Пригороды Лондона.

Аристократический квартал Лондона.

Гора в Альпах на границе Швейцарии и Италии.

Пародия на Айрис Мердок, в частности на роман «Отсеченная голова».

Злорадство.

Небольшой глиняный или фарфоровый музыкальный инструмент, по звучанию близкий к флейте.

Азенкур — селение во Франции, где в 1415 г. английские войска под командованием Генриха V нанесли французам тяжелое поражение.

Порт близ Гавра, захваченный в 1415 г. английскими войсками под предводительством Генриха V.

Одна из главных крикетных площадок Англии.

Националистическая военная организация в Израиле.

Автор пародирует старинные, поныне сохранившиеся названия придворных должностей типа «дама королевской опочивальни», «кавалер чайного сервиза» и т. п.